И. М. ПЕТРОВ
/ТОИВО ВЯХЯ/

КРАСНЫЕ ФИННЫ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В книге три документальных повести. В первой — «Красные финны» — И. М. Петров вспоминает о своей боевой молодости, о товарищах — красных финнах, которые после поражения революции в Финляндии обрели в Советской России новую Родину. В «Операции «Трест» автор рассказывает о своем участии в одноименной чекистской операции, в повести «Ильинский пост» — о своей нелегкой пограничной службе в Забайкалье в 30-е годы.

- Красные финны
  -
  - КРАСНЫЕ ФИННЫ
    -
    - ПРАВО ЗАЩИЩАТЬ РЕВОЛЮЦИЮ
      -
      - «БЕЗ МАЛОГО ШЕСТНАДЦАТЬ»
      - ДУБРОВКА
      - ГОРЕЧЬ ПОРАЖЕНИЯ
    - КУРСАНТСКИЕ ГОДЫ
      - ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА
      - КУРСАНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ
      - КРОНШТАДТСКИЙ МЯТЕЖ
      - ЛЫЖНЫЙ РЕЙД НА КИМАСОЗЕРО
  - ФОТОГРАФИИ
  - ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
    -
    - НА ГРАНИЦУ
    - КРУТОЙ ПОВОРОТ
    - НАДО ДЕРЖАТЬСЯ
    - В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
  - ИЛЬИНСКИЙ ПОСТ
    -
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
- notes
  - 1
  - 2

Красные финны

И. М. ПЕТРОВ
(ТОЙВО ВЯХЯ)

КРАСНЫЕ ФИННЫ

Воспоминания

КРАСНЫЕ ФИННЫ

ПРАВО ЗАЩИЩАТЬ РЕВОЛЮЦИЮ

С падением царской империи пала ширма, которая позволяла ссылками на внешнее угнетение удобно и надежно прикрывать внутренние пороки общественного устройства самой Финляндии. После победы Великого Октября классовые противоречия особенно обнажились, обострились. Финская буржуазия готовила трудящимся своей страны новые, «отечественные» оковы взамен павших внешних, и в январе 1918 года развязала гражданскую войну. Увлекаемые стремлением к свободе, этой манящей цели, во многом еще неведомой, красные финны сражались с беззаветным героизмом. По масштабам переломной эпохи их было немного, несколько десятков тысяч, но это — почти все наемные рабочие Финляндии, страны совсем небольшой.

Красные финны мне бесконечно дороги. Дорога́ мне и их память. По-разному сложились их судьбы, но есть и общее в них. И это общее, не утраченное и сейчас, поможет мне заглянуть в то далекое прошлое, когда складывались наши личные судьбы, для многих по трагичности поистине беспримерные.

«БЕЗ МАЛОГО ШЕСТНАДЦАТЬ»

Детские годы помню плохо — давно очень это было. Все, наверное, было: радости детские, детское горе и детская любовь. Все, как бывало и есть, наверное. В семье, вспоминается, что-то разладилось, и мы, — мать и старшие дети — оказались в деревне.

Отец в те годы к нам не приезжал. Зато часто бывал дядя, младший брат отца, холостой еще и очень добрый. В дальнейшем отношения между родителями наладились, и они жили в большом согласии до глубокой старости. Семья стала расти, и потому, видимо, меня взял к себе другой дядя — брат матери, вдовый человек с дочерью моих лет.

Одного детство не имело — продолжительности. Оно ограничивалось четырнадцатью годами и, по окончании школы, обрывалось сразу и резко, как выстрел.

Дети рабочих в основном оканчивали начальную школу. В городах — шесть классов и четыре в сельской местности. Впрочем, существенной разницы не было: в сельские школы принимали с девяти лет и только детей, умеющих читать, писать и в какой-то мере знакомых с четырьмя действиями арифметики. В городские — с семи лет, и два первых класса были подготовительными, для приобретения таких же начальных

знаний. Не все дети рабочих получали и такое образование, особенно в сельской местности.

Два события осели в памяти. Совершенно различные они были, и в те годы я, мальчишка, не мог дать им верной оценки. Не могла такой оценки дать и моя среда.

Смерть Л. Н. Толстого оплакивали, как уход навсегда создателя литературных шедевров (частично уже переведенных на финский язык), но, может быть, больше всего как доброго христианина, не успевшего сказать людям о боге то важное и великое, тайной которого владел.

Пышно отмечалось трехсотлетие дома Романовых. Впервые в финских школах выставили портреты русского царя. Небольшие портретики и довольно примитивные — в сравнении с портретами таких деятелей национальной культуры, как Рунеберг, Лённрот или Алексис Киви, выполненными на высоком художественном уровне и значительно большими по размерам. В отличие от остальных портретов, царские имели позолоченную рамку, что, возможно, удовлетворяло вкусы правящей знати и ее великодержавный раж.

Тогда же, кажется, в начальных школах ввели обязательный курс русской истории. Учебник был маленький, не больше общей тетради, и довольно жалкий. В эту книжечку уместилась вся история России от возникновения Руси и до последнего из Романовых. Многого в таком учебнике не скажешь, но ряд положений надо было заучивать наизусть. Тогда же я узнал, что Россия состоит, оказывается, из великорусов, белорусов и малорусов, имеет 49, кажется, губерний и еще семь в царстве Польском. Царь, оказывается, вовсе не русский царь, а польский. Так и заучивали: «Мы, Николай второй, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский» и пр. и пр. Надо было знать всех царей до последнего Николая. Еще Дмитрия Донского и Александра Невского, возведенных почему-то в ранг святых. Надо было знать десять крупнейших городов России, и тогда они шли в такой последовательности: Петербург, Москва, Варшава, Одесса, Харьков, Киев, Баку… Нет, больше не помню уже. Да и стоит ли оперировать столь древними данными, когда появились тысячи новых городов и население многих из них достигает миллиона.

Экономика России, ее культура и литература не изучались. Разумеется, программа начальной школы имеет свои ограниченные пределы.

Но вот закончена школа, а с нею кончилось детство. Берись теперь за труд. Кто лес идет рубить и сплавлять, кто в батраки, кто к станку. Чтобы приняли на работу, скажешь, конечно, что не

четырнадцать тебе. Детский труд передовая общественность осуждала, и предприниматели остерегались открыто эксплуатировать малолетних. Делают вид, что не нуждаются в детском труде: «Кому они, сопляки!» Но когда ты скажешь, что тебе уже, мол, без малого шестнадцать, дело меняется. Теперь уже не эксплуатация детского труда, а обучение рабочей молодежи профессиям. А это разве не патриотический долг предпринимателя?

Завод, куда я поступил работать, был немалый. По тому времени из передовых и, судя по наименованию — «Машино- и мостостроительный» — широкого профиля. Вели даже ремонт поврежденных в боях военных кораблей — миноносцев.

У меня работа была простая: отпили заготовку и расточи ее концы по шаблону. Вот и все! Так по девять часов в день. Ночные смены, через неделю, были на час короче. Ученикам первого года обучения в середине ночи разрешался часовой отдых на опилках в подсобной котельной.

Труд подростков, почти детей еще, применялся широко и занимал видное место в производстве. И это была дешевая рабочая сила! Ученику первого года платили по сорок пенни в день, примерно столько же копеек на наши современные деньги. На втором году учебы — сдельщина: половина заработной платы взрослого рабочего за такую продукцию. На третьем году — три четверти, а там — получай справку о приобретении специальности и — будь здоров, заводу ты больше не нужен. Ему нужны новые ученики, новая дешевая рабочая сила.

Труд был организован разумно. Отношение к ученикам — безупречное. Подзатыльников не давали, на побегушках не гоняли, и никто не требовал частных услуг. Покушения на заработную плату ученика под видом празднования «первой получки» или под любым другим предлогом исключались внутренним миром здоровой пролетарской среды. И не им только. Ученик у станка, за работой, создает прибыль. Ученик на побегушках — признак отсталости предприятия и плохой организации труда.

Тяжело стоять у станка в такие годы, особенно в ночную смену. И не просто стоять: надо работать и выполнять норму выработки! После нескольких дней практического обучения быстрые детские руки изготавливают небольшие детали, не требующие повышенной точности, темпами мастерового. Темпы почти механически закреплялись в нормы. А раз нормы есть и твои способности выявлены — пошевеливайся!

Коротким было детство. Юности не помню. Память не сохранила ее следов. Помню неимоверную усталость и тревоги

начавшейся первой мировой войны. В моем представлении они переплелись, хотя война началась, когда мне было тринадцать, а работать начал, когда четырнадцатый миновал.

Война шла вдали. Финны, подданные русского царя, в армию не призывались, но война властно вторглась и в нашу среду. Промышленные предприятия одно за другим переключались на военное производство и в порт прибывали поврежденные в боях корабли. Миноносцы подходили к причалам и докам. Тяжелые корабли останавливались на рейде. Говорили, что и те оси, которые я вытачивал, были элементами цепей орудийных башен на кораблях.

Вскоре меня перевели на изготовление других, более сложных деталей, и мое место занял новый малыш, еще совсем «зеленый». Тоже из тех, которым «без малого шестнадцать». По сути дела, мы так и продвигались: от маленького станка у входных дверей к более мощным и сложным в глубине цеха, а от них — к заводским воротам.

Бывало иногда, в летнюю пору, побежишь к заливу. Знакомые камни, плоские и почти белые, отшлифованные в течение веков волнами и поколениями детских ножек. Много тут этих детей, веселых, шумных и озорных. Пройдут годы, совсем немного лет, и когда им станет четырнадцать, как мне, они будут изредка приходить сюда и уставшими глазами смотреть, как играют другие дети. Но изнуренные ночными сменами и постоянным недоеданием, не будут уже бегать и долго не задержатся здесь.

Вдали — моторные лодки, великолепные яхты, блестящая молодежь и музыка. Там другой мир…

Я очень любил остров Бряндо, сейчас, кажется, Кулосаари. В те годы туда вела паромная переправа. Высокие скалы с хилой растительностью, вид на бесчисленные острова — все это волновало воображение. Если усталость не очень одолевала, я часами расхаживал по этим скалам и почему-то сочинял стихи. Не помню их теперь. Но, конечно, мне они казались хорошими, трогательными и даже вызывали у меня — автора и единственного читателя — обильные слезы. Сильно меня волновали «Морской волк» и «Хижина дяди Тома», первые книги, которые помню.

Сейчас я, наверное, принадлежал бы к самым старым жителям этого острова. По сути дела, Бряндо только осваивался горожанами. Построек еще было мало. Улиц — всего две и те плохие. Одна вела к казино на берегу, почти над обрывом. Вторая — вдоль трамвайного пути вглубь острова. Она могла бы и на западный берег выйти. Но до конца ее не довели. Места там дикие, не обжитые еще, и кому нужна улица в такой глухомани!

Бряндо строился, может быть, благодаря войне. Спекуляция достигла невиданных размеров, и, может быть, именно тогда я впервые услыхал новое мне слово — спекулянт. Трудящиеся презирали этих пиявок, но они все росли численно, обогащались и охотно вкладывали неустойчивые бумажные деньги в надежную недвижимость. Помню вереницы женщин и девчат со связками кирпичей на спине, бегающих по крутым и шатким лесам на верхние этажи новостроек. Финны моего возраста помнят этот женский труд в старой Финляндии.

На развилке двух этих улиц, той, что с казино, и другой, идущей в глубь острова, жил я тогда у своего дяди. Комната чердачная, с наклонным потолком, в стене, в углублении ниши — плита. Владелица не возражала: «Пускай живет! Куда ж его, такого? Поможет иногда двор убирать. Ему же и польза: не избалуется». Она знала, что говорила. В ее руках не избалуешься!

Война все более жестоко вторгалась в рабочие семьи непрерывным ростом цен. Продукты питания еще были в продаже. Только не по карману рабочему человеку. Однажды мой дядя забунтовал:

— Не хочу жить на одной ливерной. На Мурманку поеду. Там и кормят и заработки приличные.

Что нашел он в лесах Карелии — не знаю. Видеться больше не довелось. По рассказам «на Мурманке» все было: и приличные заработки, и продукты питания — и много там образовалось могильных холмов.

Уехал дядя, и я лишился жилья. Некоторое время жил в Хельсинки на Третьей линии, у Отто Пирсканена, видного спортсмена по тем временам. Потом перебрался в район Лампилахти, в среду мне подобных.

Моего заработка хватало на скудное питание. По воскресным дням я мог позволить себе даже настоящий обед из трех блюд в Рабочем доме. Конечно, это за счет завтрака и ужина. Зато с какой гордостью я в такие дни заказывал все одно и то же третье блюдо: «соппа, корпут и керма», что означало — компот с сухарями и сливки. В остальные дни питался предельно скромно, но тоже как бы из трех блюд получалось. Утром каша «геркулес» с маслом, вечером — она же с сахаром, а в обед — суп, кусок хлеба и непременный кофе. Не натуральный уже, суррогатный и, разумеется, не в Рабочем доме, предприятии полуресторанного типа, а в харчевне у самых заводских ворот.

Жил я прижимисто и накопил денег на ботинки. Купил ярко-желтые, заметные издали. Хозяйка ворчала:

— Разве это обувь для рабочего человека. Вкуса у тебя нет. Спросил бы…

Цены все росли. Мой заработок оставался неизменным — по сорок пенни за смену, что бы я ни делал, сколько бы ни выработал продукции. И обмана тут не было. Так и было сказано при найме еще в первый день: по сорок пенни в течение первого года!

Не выдержал я этих наших договорных условий и перешел браковщиком на обувную фабрику, выпускающую тупоносые солдатские сапоги. Она тоже тут поблизости была, в Хаканиеми. В мои обязанности не входила выбраковка негодных сапог. Кто бы допустил такое! Куда бы владелец подевал столько негодной продукции? Я должен был удалять явные признаки брака. Только признаки! Головки сапог часто делали из гнилой кожи с трещинами, разного рода надломами и ссадинами. А их не должно быть! Финляндская продукция может быть только полноценной! Вот и сиди и острейшим ножом удаляй с кожи выступающие края трещин. Потом отшлифуй, да так, чтобы и следа не оставалось, — и первосортный сапог для солдата русской армии готов. Носи, солдат, и будь счастлив, если он выдержит несколько переходов. Работа почти ювелирная, а платили и тут мало. И тоже как бы справедливо: дополнительная работа, не предусмотренная технологической схемой. Накладно!

Летом 1916 года я перешел на оборонные работы, которые вело командование царской армии в горах, за городом. Пробираться туда надо было сначала катером, потом по длиннейшим понтонным мостам из бочек и еще немалое расстояние пешком по горам.

Заработки там были заметно выше, и столовая была. Работать не полагалось. Надо было только держаться за лопату и воткнуть ее в землю при подходе солдата-сапера, руководившего работами землекопов-финнов. Возможно, такое отношение к труду здесь было проявлением национального протеста, понятного и в тех условиях правомерного, но в целом, в народной среде, направленного по ложному следу. На всю жизнь я сохранил убеждение, что именно в национально-освободительном движении финская буржуазия нашла лучшие пути к душе народа и использовала его покорность и доверчивость в своих интересах.

В течение веков, включая шведское владычество, господствующие классы Финляндии, органы самоуправления, печать, школа, церковь и весь уклад общественной жизни внушали народу враждебность ко всему русскому. Не допускалось и намека о том, что есть две России — трудовая, дружеская, братская, и Россия грабительская, враждебная ко всем народам и, может быть, наиболее враждебная именно к самому русскому народу.

Любые проявления дружелюбия рабочей молодежи к русским солдатам и морякам флота осуждались. Финские девушки, замеченные на танцевальных площадках солдат или моряков, подвергались суровому и оскорбительному общественному и церковному бичеванию.

Господство Российской империи, разумеется, не было благодеянием для финнов, и не мне оплакивать его распад. Но неоспоримо, что, получив независимость решением пролетарской России, ни одно собственно финляндское правительство, исключая последние послевоенные, не обеспечило своим гражданам и тех личных и гражданских свобод, которыми они пользовались в составе Российской империи. И это не только в области политической.

Финляндские железные дороги имели ширину колеи, принятую по всей империи. Но появление в Финляндии «русских» вагонов признавалось оскорбительным для национального достоинства финнов. И в Петербурге, на Финляндском вокзале, производилась перегрузка товаров из красных «русских» вагонов в синие «финские».

С глухой болью вспомнил об этом, когда недавно мне предложили «финскую» папиросу в американской упаковке. Могущественные монополии США захватили табачную промышленность этой небольшой страны. И это, кажется, не вызвало заметного протеста. Может быть, это делалось в порядке обмена? Финнам по-прежнему разрешено экспортировать в Америку своих лучших спортсменов.

Старая добрая Финляндия!

Рабочее движение было хорошо организованным и массовым, но по направленности преимущественно культурно-просветительным. Подавляющее большинство рабочих состояли в Социал-демократической партии, в те годы единственной политической партии трудящихся. Почти все рабочие были членами профессиональных союзов.

Помню забастовочное движение, споры и перепалки по выборам в Сейм, по вопросам кооперации, женского равноправия и большую, думается, работу по организации рабочего спортивного движения. Немалое внимание уделялось поднятию культурного уровня рабочих, профессионального мастерства устройству вечеров самодеятельности и массовых празднований.

Веселым, спортивным и каким-то семейно-милым вспоминается праздник весны, условно Первомай. Выступали чтецы-декламаторы, самодеятельные поэты из рабочих, ставились пьесы Спорт, конечно, массовые игры и танцы.

Широко и весело отмечалась середина лета, иванов день.

Обычно выезжали на острова. Все — и глубокие старики, древние старухи и малые дети. Был один общий костер и небольшие семейные. Кипятили кофе, шутили и пели. Выпивали тоже. Существовал очередной «сухой закон», но изобретательные и изголодавшиеся финны перегоняли на водку денатурат и даже гуталин на спирту, выпускаемый всесильными спекулянтами-предпринимателями. Молодежь не угощали. И страшновато было бы начинать такое наслаждение с употребления компонента сапожной мази!

Финны моего времени не отличались святостью и были драчливы. За дружеской выпивкой нет-нет да и вспыхивали ссоры. Но окружающие вмешивались и дальше незамысловатой угрозы: «А ну, ударь еще раз» — дело обычно не доходило.

Многие, металлисты в особенности, высокому профессиональному мастерству учились в Питере, и туда выезжали на заработки в период забастовок в Финляндии и безработицы. Встречались финны с русскими рабочими и при ремонте кораблей Балтийского флота.

Идеи национальной независимости, несомненно, искрились и в рабочей среде, но оголтелые антирусские настроения там места не имели. Связи с русскими рабочими и все более ясное понимание общности судьбы рабочего люда исключали такую возможность.

Показательными являются слова о русском народе умеренно левого социал-демократа И. Мякелина, которые приводит И. И. Сюкияйнен в своей превосходной книге «Революционные события 1917—1918 гг. в Финляндии»:

> «И. Мякелин говорил: „Мы знаем, и мы убеждены, что этот народ, который не имеет никакого отношения к разбойничьим планам российского правительства, как только он сам освободится от своих угнетателей, еще вернет нам все то, что правительство от нас возможно отнимет“».

Здесь чрезвычайно сильно и верно высказаны мысли рабочих-финнов моего времени и их вера в новую Россию. И мы вправе гордиться таким пониманием классовых и национальных проблем финскими рабочими старших поколений.

Мы помним, и молодые не должны забывать, хотя знают об этом только из литературы и уроков истории: пролетарская Россия вернула финнам даже больше, чем они просили.

Символично, может быть, что сын этого Мякелина, Юрье, в составе красных финнов воевал за власть Советов в России…

Старая добрая Финляндия!

Крупнейшая роль в воспитании национальных чувств финнов принадлежала церкви, организации своеобразной, очень сильной и весьма сложной. В Финляндии она отличалась большей демократичностью и сравнительно терпимым отношением к тем, кто отрицал ее догмы. Нельзя не признать и ее заслуг в деле превращения Финляндии в одну из первых стран сплошной грамотности. Например, к конфирмации — предварительному условию вступления в члены церкви — допускались только юноши и девушки, умеющие читать и писать и, конечно, знающие катехизис. И только такие, разумеется, могли вступить в церковный брак. Неграмотные, не принятые в члены церкви, лишались этого права. Церковь призывала население к полному охвату детей школьным обучением. Для неграмотных юношей и девушек организовывала воскресные и вечерние школы.

Священник — киркко херра — непременный участник организации народных празднеств и спортивных соревнований. Не кадилом он там машет и не навязывает благословения, а дает советы, дельные советы. Вспоминается, что и мой первый приз на лыжных соревнованиях школьников я получил из рук главы местной церкви.

Поведение священника внешне было безупречно. Свою, и немалую, долю общественного продукта он получал, как должное, марок и пенни не собирал. И кто бы посмел предложить киркко херра такое!

Не минует он семьи бедняка, если там случилась беда, не откажется в такой семье от чашки кофе, может быть и очень плохого. Еще долгие годы после этого хозяева будут рассказывать соседям: «Тут за нашим столом сам киркко херра сидел и пил кофе из этой чашки. Храним ее уже сколько лет».

Да, большой силой была церковь, и не покачнешь ее тем только, что назовешь религию опиумом. Хорошо и умело служила она имущим классам, направляя недовольство народных масс против «внешних угнетателей», против России и русских. С падением царского строя в России церковникам стало не до ласковых улыбок. Исчезли улыбки, и церковь показала свои зубы.

Но вернемся к тому, что происходило летом 1916 года.

«Национальный протест» землекопов-финнов на оборонных работах царское командование подавило без усилий: просто увеличило число саперов-надзирателей, и в дальнейшем они безотлучно торчали около нас. Сидели ли они, стояли или курили, но лопаты в наших руках двигались сноровисто и быстро.

На зиму, как обычно, земляные работы прерывались. А в этот раз, насколько я знаю, они уже не возобновились более. Может быть, и сейчас там сохранились наши окопы и траншеи. Длинные

и довольно прямые рвы, отделанные бетоном. Были совсем готовые, были и только начатые.

С прекращением строительства оборонительных сооружений всех вольнонаемных командование уволило. Передо мной, как и перед многими другими финнами, вновь встал вопрос: где найти работу? Была зима, всюду сокращалось производство, спрос на рабочую силу уменьшался, а число нуждающихся все росло. И я решил ехать в Питер, как тогда финны называли Петроград.

Рабочих финнов в Петрограде было много. Десятки тысяч, наверное. На Выборгской стороне, на Охте, в районе Финляндского вокзала финская речь звучала так же часто, как и русская.

В Петроград я ехал первый раз. Кое-какие представления о большом русском городе я имел, хотя и не знал, где буду жить, где работать. В одном со мной вагоне из Хельсинки возвращался пожилой финн, постоянный житель Петрограда. Старые финские производственники бережно и заботливо относились к рабочей молодежи. Не только наставления давали, а часто расспрашивали молодых, советовали, но мнения своего не навязывали. Таким оказался и мой спутник — доброжелательный и умный.

— Смотри, Питер большой. Все бы финны туда уместились, — говорил он. — А что языка не знаешь, то это не такая уж большая беда. Вот если надолго едешь, то без языка не жизнь. Конечно, есть и такие, которые и не изучают, но это худо. Работать крепко придется, а пальцем на все не укажешь.

— Работы я не боюсь.

— Не боишься, говоришь? Это хорошо! Но не хвались зря. На токаря не доучился. Значит — не токарь. Землю копал? Улицы, что ли, перекапывать будешь в Питере? Молодому человеку ремесло знать надо, ремесло!

— Может, на железную дорогу поступлю, временно, до весны.

— Может быть. Зима на носу, и временных рабочих нанимают. Но опять только шпалы да рельсы таскать и убирать снег тоже. Ремеслу не научат. Может, в Дубровку поедешь, раз там у тебя родители? Слыхал я, что недурно там.

— Как к финнам — русские? — расспрашивал я.

— Разные они, русские. Рабочий человек есть рабочий человек. Ничего дурного или чужого в нем нету. Язык только другой. Ты держись ближе к тем, кто ремесло знает. А так — всякие люди: и дурные есть, пьяницы, жулики разные. Таких остерегаться надо, особенно на базарах, по барахолкам которые…

— Жил с людьми, знаю.

— Так ли уж хорошо знаешь, — усомнился мой добрый собеседник. — Хороших людей на свете много, да только на лбу у

них о том не написано. Присматриваться надо. Ты вот запиши мой адрес — на Шпалерной живу. Многого не обещаю, но если трудно будет — чем-нибудь помогу. Заходи.

Мой спутник верно сказал. Петроград — город большой. Заводов много. Всем бы финнам места хватило, а одному втиснуться трудно. Потолкался я в городе недолго, попробовал эти временные работы и решил: поеду-ка в Дубровку, к своим, а там видно будет. Поздней осенью 1916 года одним из последних пароходов поднялся я вверх по Неве до Дубровки.

ДУБРОВКА

Это был маленький поселок на Неве. Маленький и оторванный от большого мира. В летнее время связь с Петроградом и Шлиссельбургом — пароходами. В зимнее — через станцию Мга, ближайшую, но не близкую — до нее более десяти километров.

Дубровка в те годы — это лесопильный завод, бумажная фабрика да небольшие сельскохозяйственные угодья. Конный транспорт здесь еще долго оставался единственным средством зимних перевозок заводского груза.

Финнов в Дубровке жило порядочно, семей сто, если не больше. Примерно столько же русских, в основном выходцев из деревень. Были еще ингерманландцы. Они обслуживали конный обоз. Ингерманландцы в какой-то степени владели русским и финским языками и гордились этим.

Администрация состояла из шведов, держалась обособленно, жила в особняках улучшенного типа — все-таки начальство. Других представителей власти в Дубровке не было, если не считать урядника, всегда серьезного и надутого. Он обычно ходил в черной шинели, с белыми ремнями крест-накрест. Похоже было, что само время уже перечеркивает эту фигуру.

Рабочие — финны и русские — жили в деревянных шестиквартирных домах, расположенных ровными рядами. Холостяки и кое-кто из молодоженов размещались в маленьких домиках, тут же, через дорогу. Часть русских, из местных жителей, имели свои дома в ближних деревнях.

Все жили дружно, хотя в быту несколько обособленно.

Довольно развита была самодеятельность, хотя Рабочего дома в Дубровке не было, о нем только мечтали. Администрация уступила длинный старый сарай, и в нем мы устроили временный клуб. Там проводили вечера с ранней весны до поздней осени. В зимнее время не войдешь, не посидишь — холодно.

Выступали и русские и финны. Шведы — редко. Обычно они

только показывали гимнастику на снарядах, которая с трудом давалась рабочим, уставшим от тяжелого труда. В одно воскресенье выступали финны, в следующее — русские, но иногда в один вечер и те и другие. Хотя языка друг друга и не знали, но дружно аплодировали и говорили потом:

— Хорошо эта русская девица пела, задушевно.

— Да, голоса у них есть, и песни хорошие.

Конечно, и среди финнов были разные люди. Степенные и молчаливые мастеровые, жизнерадостная и шумливая молодежь; встречались и великовозрастные лоботрясы, даже в солидные годы не достигшие зрелости. Пьяниц и картежников, к счастью, было немного, но иногда в поселке случалась и поножовщина. Да и в самой Финляндии в мои годы тоже без этого не обходилось.

Февральская революция не вызвала в Дубровке заметных волнений. Урядник куда-то подевался, и администрация не оказывала сопротивления введению восьмичасового рабочего дня. Она пошла даже дальше — выделила материалы и деньги на строительство Рабочего дома. Все это, как было обусловлено, она давала взаймы, но потом рабочие смеялись:

— Как вышли мы со знаменами, толстопузые испугались. Такие любезные стали: «Хотите восемь часов — пожалуйста, господа». Тут, видишь, и господами нас назвали.

— Не вернем мы им этих денег, что взяли на Рабочий дом! Черта лысого им…

— Ясное дело, не вернем…

Возможно, администрация потому не противилась и уступила рабочим, выделяя деньги и материалы на строительство, что рассчитывала извлечь себе выгоды. Кажется, тогда она эти выгоды получила. Занятые строительством своего Рабочего дома, финские рабочие в Дубровке не вмешивались в большую политику. Некоторое время плотником на этом строительстве работал и я. Пришел поздно, и мои профессиональные навыки не внушали доверия, хотя и говорят, что настоящий финн рождается вместе с набором плотницкого инструмента. Мне доверили только участие в возведении тех сооружений, которые обычно выносятся подальше от главного входа. Попадешь, бывало, молотком по пальцу, и Эйно — старый мастеровой, мой шеф-тут как тут:

— Скажу я моей Вильгельминовне, чтоб она тебе сковородку дала. Иные мастеровые сковородою ловчее по гвоздю попадают.

Я помалкивал: оказывается, процесс освоения профессии — дело мудреное.

Не зная русского языка, многие из нас не были осведомлены

о том, что происходило в России. Администрация же этим пользовалась. Но новое, конечно, вторгалось и в такую тихую гавань, как наша Дубровка. Появились новые имена: Брешко-Брешковская, граф Львов, «социалист» Керенский. Однако они недолго пользовались вниманием рабочих, всех их вскоре вытеснило новое имя — Ленин. Ленин и большевики. Мало кто из участников финского рабочего движения раньше слышал о них. Из русских им был известен Плеханов, больше немцы — Лассаль, Бебель и Каутский. Их портреты выставлялись вместе с портретами деятелей национальной культуры Финляндии. И только здесь, в России, они узнали о Ленине.

— Ленин-то из каких? Рабочий?

— Говорят, не из рабочих. Но жил с ними и за рабочих крепко стоит.

— Еще бы! Если б за рабочих не стоял, так не ругали б его господа из Временного. На своих они не особенно лают.

— Русский ли? Фамилия на финскую похожа…

— Русский, говорят…

Июльские дни семнадцатого года также не вызвали в Дубровке больших потрясений. В какой-то мере они сказались на настроении финских рабочих. Новое только начало было вырисовываться — еще не очень понятное, но чутье подсказывало: свое. Большевистские газеты не приходили — были закрыты. Финны, владевшие русским языком, переводили нам сообщения реакционной прессы да статьи из соглашательских газет. Но разницы между ними не было: те и другие ругали Ленина, клеветали на большевиков. И вот это по-настоящему волновало нас. Рабочие немногословны, финские рабочие — в особенности. А в эти дни каждый старался сказать свое слово.

— Слыхал? Газеты пишут, что Ленина-то под пломбой в вагоне привезли. Пишут: шпион немецкий.

— Брехня! Какой он немец — русский!

— На суд, говорят, не пошел, опасается, стало быть.

— А когда же господа справедливо судили?! Засудят и невинного, а то и убьют.

— Говорят, он укрылся где-то.

— Вот и хорошо, что укрылся. Надежно бы только.

Не удалось буржуазным и реакционным газетам обмануть рабочих — ни русских, ни финнов. Классовым чутьем они улавливали где правда, где ложь. Уже позднее мы узнали, что именно наши земляки-финны А. Шотман, Э. Рахья, Г. Ровио, Г. Ялава принимали непосредственное и самое деятельное участие в спасении Владимира Ильича Ленина. Впрочем, они были воспитанниками русского революционного движения.

Из Петрограда в Дубровку приезжали разного толка агитаторы, но только не большевистские. Речи всех выступающих переводились на финский язык, но разобраться в них было трудно.

Все ораторы признавали восьмичасовой рабочий день, профессиональные союзы, свободу слова, печати. Все выступали за мир, но, конечно, когда «будет обеспечена сохранность революционных завоеваний». Все говорили о необходимости передать землю крестьянам, но по закону, по решению Учредительного собрания, а не так, чтобы любой хапал сколько хочет. Каждый называл номер списка, за который мы должны голосовать при выборах в Учредительное собрание.

Разберись тут! И все же разобрались и поняли. И в Учредительное собрание дружно голосовали за большевистский список. В день выдачи бюллетеней агитация уже была запрещена, и финны, большие сторонники законности, не нарушали этих правил. Но все же малость хитрили. Потом, вспоминая выборы, говорили друг другу:

— Эх, и хитер Эрккила. Выдавая бюллетень, пальцем на номер нашей партии показывал… Нечаянно как бы…

— И мне тоже… Как будто я номера своей партии сам не знаю…

— Умный он человек, этот Эрккила. И осторожный тоже…

Великий Октябрь поразил нас смелостью действий революционного рабочего класса. Особенно поразил финнов, осторожных и расчетливых в те годы. Для многих людей Октябрьская революция была исторической неожиданностью, вызвавшей и восхищение и настороженность. Естественно, нас, финнов, волновал вопрос: что будет с нашей Суоми? Начавшееся триумфальное шествие Советов по всей России радовало и ободряло и порождало иллюзии, что теперь уже ничто и никто не может помешать Революции. «Ну кто же может осмелиться выступать против, если народ поднялся?»

Сведения из Финляндии поступали противоречивые. Одни успокаивали, другие вселяли чувство тревоги. Но в целом и там дела шли не так уж плохо. Когда в дни осенней всеобщей забастовки рабочие вышли на улицы городов с винтовками в руках, господа буржуи разбежались по своим норам. Да, народ — сила! И опять иллюзии: «Кто осмелится выступать против? Кто устоит?»

В течение лета и осенью 1917 года из Финляндии приезжали агитаторы. Одни, как Кальюнен, читали стихи. Понравилось. Хорошо читал, трогательно. Другие говорили о конституции, бог весть каким царем даренной Финляндии и каким похеренной.

Стихи забывались, а о конституции говорили, стремясь уяснить себе, что это за штука такая и что в ней стоящего. Долго обсуждали, в итоге решили: больше самостоятельности Финляндии — это хорошо! А буржуазия как? Если опять ее власть, то не надо финнам такой конституции! Нам бы новую Финляндию, независимую, но в союзе с Россией, и чтоб все, как в России. Иначе съедят Финляндию. Верно решили, но только путей к этой цели не знали. Наша зрелость отставала от объективно сложившихся возможностей. Так было в самой Финляндии, а тем более у тех финнов, что работали тогда в Дубровке, на маленьком островке между революционной Россией и бурлящей Финляндией[1].

ГОРЕЧЬ ПОРАЖЕНИЯ

А развитие событий шло все быстрее. Советская власть укреплялась в одной губернии за другой, пришли в движение десятки народов и народностей, только что освобожденных революцией от царского гнета. В этом вихре событий на нас, финнов, особенно сильное впечатление произвели два государственных акта — провозглашение «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа», выработанной В. И. Лениным, и признание Советом Народных Комиссаров независимости Финляндии. Эти документы ободрили нас и вместе с тем озадачили. Финляндия — независимая от России! Но не попадет ли она в зависимость от другой какой-нибудь капиталистической страны? Получат ли рабочие-финны те права, которые провозглашались Декларацией в России?

За все это нам еще предстоит бороться. В новом Рабочем доме, только что построенном, проходит первое собрание. Решается вопрос о создании Красной гвардии. В тот январский вечер и сложилась красногвардейская группа, которая потом, пополненная рабочими-финнами из Петрограда, получила название Второй роты Выборгского района.

Собрание торжественное, деловое и в чем-то трогательное. Присутствуют рабочие вместе с женами, взрослыми членами семей.

Вопрос один: создание Красной гвардии и незамедлительный выезд в Финляндию, где уже начались бои с белыми. Потом подают письменные заявления, каждый по очереди становится лицом к залу. Из президиума спрашивают участников собрания:

— Знаете ли вы этого товарища? Доверяете ли ему дело защиты рабочих?

В большинстве случаев доброволец не успевал подойти к

столу, как из зала ему кричали под всеобщее одобрение: «Знаем тебя, верим!»

На собрании присутствовало довольно много женщин, девчат. Просились в отряд и они. Может быть, финские женщины тогда не выдвинули из своих рядов выдающихся героинь. Были солдатами в строю, связистками или санитарками. Но они отдали революции все, что могли, сделали все, что умели. И нет на них вины за наше поражение.

Были и такие, кому собрание отказывало в доверии. Говорили откровенно, не кривя душой: «Хорошего от тебя видели мало. Поработай с нами еще, посмотрим…»

Рекомендованные собранием добровольцы выстраивались в шеренгу вдоль стены, присутствующие подходили к ним, пожимали им руки, желали доброго пути и скорой встречи.

Через день выехали в Петроград. Выехали необученными, налегке — в демисезонных пальто, в шляпах, ботиночках. Может быть, внутренне и понимали, что к отъезду не все подготовили, но ободряли себя: «Человеческая жизнь так коротка, что не стоит и волноваться из-за такой мелочи».

Петроград провожал добровольцев не только холодом, но и первыми признаками наступающего голода. Однако для нас пока еще вдоволь нашлось миног, необычайно вкусной, теперь, к сожалению, редкой рыбы.

На Финляндском вокзале к нам присоединилась группа финнов, тоже рабочих и тоже красногвардейцев, провожаемая близкими и теми рабочими, что оставались в городе. На перрон пропускали только отъезжающих, и вскоре на площади перед вокзалом скопилось много народу На той самой площади, где еще так недавно выступал В. И. Ленин с броневика. Он предсказывал тогда возникновение нового мира, новой России. Не прошло и года, а мир уже новый, и Россия стала свободной.

И вот на площади опять многолюдно. Кто же сюда пришел, просто любопытствующие? Не думаю. Все это наши доброжелатели. Они искренне желают нам успеха, слышны приветственные возгласы.

Было острейшее желание показаться перед народом с винтовкой, опоясанным пулеметными лентами, с гранатами на ремне. Но начальники сдерживали: «Незачем показываться. Втайне едем!»

Ах, эта тайна!

Впрочем, желание «охорашиваться» свойственно не только юношеству. Вскоре меня настиг такой потрясающий конфуз, что всю воинственность как ветром сдуло.

Получив винтовку, патроны к ней и гранаты, — тут в зале

ожидания, их и раздавали, — я сразу, один за другим, произвел два выстрела. И никак не мог понять причины. Подбежавшему ко мне командиру вначале бойко, а потом все путанее объяснял: «Все патроны я утопил туда, — и показал пальцем на магазинную коробку, — но туда, в патронник, их не засылал. Какая-то сука этот патрон туда всунула. Он и выстрелил. Только вот еще не разобрался, как там второй патрон оказался». Командир потрясенно взглянул на меня, схватился за голову. Я уловил только одно слово — «олух».

Командир был из петроградцев и, уж конечно, в военном деле разбирался.

Невежество мы, красногвардейцы, показывали поистине потрясающее. Помню, как в пути на фронт на верхних полках классного вагона любовались мы невиданной диковинной винтовкой. Удивлял прямоугольный металлический брусок на стволе. С рамкой, с хомутиком на ней и цифрами сбоку. Для чего бы эта штуковина? Успокоились на мысли, что, по крайней мере, к стрельбе прямого отношения не имеет…

По пути в Хельсинки мы охраняли эшелон с оружием, подарок финским рабочим, выделенный по личному распоряжению В. И. Ленина. Станцию Белоостров надо было незаметно проскочить ночью. Одним из непременных предварительных условий перемирия и мира с Советской Россией немцы выставили требование не доставлять никакого оружия рабочим формированиям в Финляндии! И они могли иметь в Белоострове своих тайных наблюдателей. В случае обнаружения ими эшелона с оружием, в переговорах Советского правительства с Германией возникли бы новые осложнения.

Были и другие основания для нашего беспокойства за сохранность провозимого оружия. Отход белых на север страны еще не был закончен, и отдельные лыжные группы врага проникали к линии железной дороги. Первый эшелон с оружием, проследовавший по этому же маршруту немногим ранее, на перегоне перед Выборгом подвергся обстрелу. В перестрелке был ранен один из братьев Рахья — Иван. Были и еще потери. Это нас настораживало, но вообще настроение было бодрое. Еще бы, столько оружия везем, даже пушки есть!

Все обошлось благополучно. Видимо, нам помогли местные Советы и солдатские комитеты.

В пути мы много пели и шутили. Вошедшая в поговорку молчаливость и угрюмость финнов — только внешняя оболочка их веселого нрава.

В Петрограде нам выдали папиросы, а раз выдали — надо курить! Девчата ворчали: «Господи! — Дышать нечем!» Но

ворчали несерьезно, больше для вида. Иногда ребята позволяли себе лишнее. Тогда в дело вмешивался дядя Эйно, добрейшей души человек. Обращаясь к девчатам, поучал:

— Дурочки вы еще. Молодые. Вам же на пользу — к жизни приучаем. Я свою Вильгельминовну так выездил… — и он ввертывал такое, что девчата, заткнув уши, вылетали из купе. Все знали, что его Вильгельминовна — женщина бездетная, крутого нрава и держала его, моего шефа по плотницкой профессии, в большой строгости. Здесь же он потому так и разыгрался, что не висела над ним ее карающая десница. Все знали это и в свою очередь подшучивали над ним:

— Уж скажем мы Вильгельминовне, какие пакости ты о ней рассказываешь.

— Я ж пошутил, — оправдывался дядя Эйно. — Неужели будете сплетничать?

Так с песнями и шутками, в табачном дыму, за одни сутки докатили до Хельсинки.

Разместили нас в каком-то правительственном здании — сенат бывший или канцелярия генерал-губернатора. Просторные залы, кабинеты. Дорогие столы, стулья и… отчаянный холод.

Кормили умеренно. Не ожиреешь, да ведь и дел никаких — лежи и покуривай! Так прошло двое суток, но мы шутили: от лежания еще никто не умирал!

Начальники куда-то уходили, возвращались, посовещавшись, опять уходили.

Но вот, наконец, и команда: в поезд, на Тампере!

Тогдашний Тампере — небольшой городок. Мы заняли холодное здание школы. Начальники здесь, как и в Хельсинки, тоже забегали. И тоже совещались.

Кормили нас сносно в столовых и кафе города. И девушки, еще почти дети, нам пели:

Посади ярко-красные розы на моей могиле.
Они расцветут, как символ наших идей…

Красивая песня, но не боевая, скорее унылая. Потом подали лошадей, и мы, по пять-шесть человек в одних санях, выехали на север, на фронт. Выехали необученными, без теплого обмундирования и — в стране прославленных лыжников — без единой пары лыж.

Теперь, спустя полвека, было бы безнадежно пытаться проследить наш путь на север Финляндии, а потом бегство к стенам Тампере. Но одно селение на северном берегу длинного извилистого водоема, берущего начало почти у окраин

Тампере, — селение Карьюла — более или менее уверенно помню. Именно здесь намечали мы создать тот ударный кулак, который должен был захватить центр белого движения, город Ваасу. Да, Ваасу, не менее того!

Ехали сюда довольно долго. Весело ехали, с песнями. Да почему было не повеселиться! Мы глубоко верили в непобедимость дела рабочего класса, верили в наши силы. И еще бы! Народ поднялся!

Многого не знали мы тогда, многого не понимали.

А между тем финская буржуазия учла уроки двоевластия в России и уроки Великого Октября. Она не хотела никаких соглашений на демократической основе, никаких совместных решений с прогрессивными силами. Она готовилась к вооруженному разгрому рабочего движения и физическому истреблению наиболее активной части рабочего класса, готовилась энергично и деловито. На среднем севере страны, в городе Вааса, окруженном крестьянским населением, довольно зажиточным и реакционным, создавалась Вандея финского образца. Там имелась военная школа белых, создавались запасы оружия и боеприпасов, тайно доставляемых из Германии. Туда прибывали егеря, получившие военную подготовку в немецкой армии, из буржуазной молодежи формировались вооруженные отряды, основа белой армии.

В слабой тогда партии финского рабочего класса не было единства, и она не имела четко выработанной тактики. На чрезвычайном партийном съезде, созванном уже после осенней всеобщей забастовки 1917 года, накануне вооруженных схваток с реакцией, только некоторые делегаты — Юрье Сирола, Куллерво Маннер и некоторые другие — отстаивали революционный путь действий, в котором тоже многое еще было неясно. Правые же на съезде выдвинули возражения: все достигнутое рабочим движением страны добыто испытанным путем парламентской борьбы, а не безответственными наскоками. Часть делегатов предложила изыскать пути примирения крайних течений в партии. На этом и остановились.

По-видимому, история возложила решение революционной задачи на плечи не подготовленной к этому политической партии и на класс рабочих, в течение десятилетий воспитанный в духе реформизма и христианской демократии. Чрезвычайный съезд, может быть, и не отражал подлинных устремлений всей партии и всего рабочего класса. Делегаты на съезд не избирались, а были приглашены по мандатам предыдущего съезда, состоявшегося до всеобщей забастовки, когда борьба еще не достигла высшего

накала и смертельная опасность рабочим организациям была не так непосредственна, лишь едва вырисовывалась сквозь решетчатую завесу иллюзий.

Низовые же партийные организации более трезво оценивали обстановку в стране. Это они брали взаймы оружие у солдатских комитетов остававшихся в Финляндии русских гарнизонов в дни осенней всеобщей забастовки. Это тогда финские рабочие на свои скудные заработки по 100 марок за штуку покупали винтовки, доставляемые Иваном Рахья из Петрограда. Именно оружием они и отбили натиск буржуазии в те тревожные дни. Может быть, они переоценили первый успех, может быть, временное отступление врага приняли за его поражение. Представители Красной гвардии попытались склонить чрезвычайный партийный съезд на революционные решения. Но съезд не прислушался к их голосу, и попытка осталась безуспешной.

В дальнейшем и сами делегаты съезда не оставались на позициях его половинчатых решений. Одни сползли вправо, в лагерь реформизма, другие мужественно бились за жизнь и счастье своего класса. Погибали в этой борьбе или, как Отто Вильгельмович Куусинен, заслуженно вошли в историю мирового коммунистического движения. Всего этого мы не знали тогда и не понимали. Узнали потом, много позднее, из превосходного исследования Тууре Лехена «Война красных и белых», кажется, еще не переведенного на русский язык. Научил и жизненный опыт. Многое он дал, но лишил нас права на поспешное обвинение прошлого, меня — особенно: мала была моя роль в этих событиях.

А тогда мы ехали на Ваасу с полной уверенностью, что разгромим этот центр белых. В селении Карьюла встретились с двумя ротами красногвардейцев из Турку. Все в полупальто из серого сукна и брюках из такого же добротного материала. В теплых шапках и новых валенках. Все как на подбор, молодец к молодцу. Вот это — Красная гвардия! Не то, что мы — сборище стариков, подростков и девчат.

Две роты из Турку да мы — вот и весь ударный кулак. Видно, нашим начальникам больше войск собрать не удалось. На санях мы двинулись на север. Проникли довольно далеко. Селение Карьюла от Тампере в нескольких десятках километров, а мы от него проехали еще через несколько сел и поселков — километров пятьдесят, наверное, не меньше. Были стычки с белыми, и бои были. Успех сопутствовал нам. Очевидно, направление удара было намечено верно. Сил только у нас было мало, сил и умения. Плохо, совершенно неправильно обученными оказались и красногвардейцы из Турку, и в наступлении и в оборонительном

бою они вели огонь только залпами и делали это так: по команде вся рота враз выскакивала вперед и, дав залп в направлении противника, тут же ложилась в снег. Так и стреляли — только залпами, выскакивали из укрытий и ложились. Но нам и это показалось значительным достижением, и по мере возможности мы копировали их тактику.

Потом попали под удар белых. Потерпели неудачу и, преследуемые лыжниками врага, откатились до Карьюлы. И тут дали бой.

Наши занимали оборону на возвышенностях перед селом. Дальше — лес и в нем белые. Оборону поддерживал взвод артиллерии из двух орудий, прибывший из Тампере за время нашей вылазки на север. Командовал им бывший офицер старой русской армии. Я был прикомандирован к артиллеристам от пехоты для связи с ними. Своих наблюдателей в стрелковых цепях артиллеристы не имели. Не было у них и телефонных аппаратов, и кабеля, но стрельбу они почему-то вели с закрытых позиций. И вот в этом я должен был им помогать.

— Беги, — говорят мне, — узнай, так ли стреляем?

Бегу, а расстояние немалое — километра два, должно быть. Спрашиваю пехотинцев:

— Так ли стреляют пушкари? Велели узнать.

— Так! Поближе бы малость и правее..

Бегу назад и докладываю: «Поближе надо и правее». А тут новая команда — беги опять. Так и бегал я, пока не выдохся вконец. Потом мне дали коня. На лошади, мол, быстрее.

Конь был дряхлый, давно забыл он, что такое галоп и даже рысь. Шел он только шагом. После двух концов — к цепям пехоты и обратно — он и вовсе остановился, — из сил ли выбился или понял бесполезность этих хлопот. Стоит себе, и ни с места. А тут еще белые начали с фланга обстреливать, и я в великом страхе слетел с коня, стоящего неподвижно. «Пропадай ты, негодный, совсем! Пусть тебя белые пристрелят, лодырь несчастный!»

На обратном пути к артиллеристам, которым нес наказ пехотинцев, чтоб стреляли малость подальше и чуть-чуть левее, в лощине встретил я моего коня. Не убили его белые. Должно быть обрадованный встречей, он кивал головой и нещадно бил хвостом по моим ушам и шее, пока я разбирал запутавшиеся поводья и карабкался на него. Обстреливаемый участок конь пробежал рысью и без понуканий. Не конь, а золото!

На батарее ко мне бросились пушкари и стали осторожно снимать с седла.

— Куда попало? В голову? Ты весь в крови.

Ранения я не заметил и боли не чувствовал, но не возражал,

когда меня, поддерживая с двух сторон, повели к врачу: для молодого бойца в ранении есть своя поэзия.

Но прелесть этой «поэзии» я ощутил сполна, когда выяснилось, что кровь на мне не своя, а с конского хвоста, пробитого пулей у самого основания. Еще долго на батарее при моем появлении поднимался хохот, даже девчонки ехидно улыбались. Я молчал, не обижался. Иначе совсем засмеяли бы.

В течение дня наша оборона держалась хорошо. Ночь прошла спокойно, но на рассвете положение резко ухудшилось. Офицер, командовавший пушкарями, перебежал к белым и унес артиллерийские прицелы-панорамы. Потом поступили сведения, что на юге страны высадились немецкие войска, а Тампере окружают белые. Две роты из Турку — главная сила нашей обороны — снялись с позиции и на санях направились на юг, для обороны своего города. За ними двинулись и мы. Лыжники белых преследовали нас, двигаясь параллельно. Но мы все-таки оторвались от них. Однако в Тампере, окруженные с трех сторон, уже не попали, или вернее, проникли в него только частью сил. Другая часть, в которой был и я, обошла город с запада и по тылам белых пробралась к его южным окраинам. Вдали от нас шел бой за город. Стреляла артиллерия, судя по всему — белых. Они торопились. Взятием Тампере Маннергейм стремился укрепить личный престиж в своем лагере и престиж белогвардейщины — перед немцами.

Оборона окруженного Тампере целиком легла на плечи горожан: мужчин, женщин и даже детей. Серьезной помощи городу красное командование оказать не могло — не располагало необходимыми для этого силами. А тут возникла новая, еще более зловещая угроза — началось продвижение немецких войск с южного побережья страны. Город был обречен.

Плохо вооруженные, вовсе не обученные и разрозненные красногвардейские группы и роты оборонялись героически. Но такими силами они не могли остановить продвижения регулярных войск. Было желание бороться, и мужество росло в боях. Но не хватало умения, не было единого командования, и уже не оставалось времени, чтобы его организовать.

В дальнейшем, до второй половины апреля, проходили стычки и бои на восточном направлении, потом наступил конец. Рабочее правительство пало, но мы успели познать, что такое власть народа.

Все распалось. Остались обломки, трупы и мы, уставшие и опустошенные.

О том, как вели себя белые, не пишу. Общую оценку им дал Ромен Роллан:

«Во все времена белые армии похожи одна на другую».

Да, именно — во все времена! Белогвардейцы Маннергейма, расстрелявшие всех захваченных ими или добровольно сдавшихся солдат небольших и разрозненных русских гарнизонов на севере Финляндии, расстрелявшие тысячи красных финнов. И его же, Маннергейма, «сепаратные» войска в составе гитлеровской армии в районе Смоленска и под Тулой, — разве они не похожи друг на друга и все вместе — на войска Миллера и Колчака, на банды Семенова, Калмыкова, Булак-Балаховича?

Не адресую я слова упрека современным финнам — рабочим, крестьянам и интеллигенции Финляндии. Не они были организаторами этих злодеяний в прошлом, и верю — совсем иные в наши дни. Добра желаю им и успеха на путях мира и строительства своей страны по собственному разумению и по собственным планам. Пишу лишь потому, что в истории, как в песне, есть слова, которых не выкинешь, не исказив ее самой.

По обеим сторонам полотна железной дороги продвигались мы к Белоострову, под защиту Советов. Тягостен уход из родной страны. Тысячами нитей ты был связан с ней, и вот они обрываются, оставляя боль в сердце. Ты не просто уходишь: бежишь ночью, тайком… А правильно ли твое решение? Так ли поступаешь, как подсказывает твоя совесть?

Да, трудно, очень трудно было уходить, и нередко в сторону уклонялись одиночки или небольшие группы, и потом только, слышались быстро удаляющиеся шаги в заснеженном лесу. Вспышками рождалось чувство горечи и стыда, подавляемое надеждой, что уходим не надолго, лишь для накапливания сил.

Особые оправдания себе строил я. Казалось, безупречные. И, наступая на собственную боль, победил ее или приглушил: «Что я? Я домой возвращаюсь. В Питер, на Пороховой, в Дубровку и мало ли еще куда. Может еще и вернусь вскорости? Может я и в России нужен, русским рабочим?»

Через много лет, в 1929, наверное, году, я прочитал у генерала А. А. Брусилова:

«Считаю долгом каждого гражданина не бросать своего народа и жить с ним, чего бы это ни стоило».

Никто так обнаженно не высказал мне этого тяжелого упрека. Чувствовал я, что в его словах правда, но всей ее глубины тогда не понимал. Вопрос этот, по-видимому, настолько сложный, что не решается столь прямолинейными суждениями.

По реке Сестре, там, где некогда проходила линия таможенных кордонов, отделявшая великое княжество Финляндское от остальной империи, проходила государственная граница между Финляндией и страной Советов. Финскую территорию, прилегавшую к границе, захватила добровольческая бригада белых шведов, наступавшая с северо-востока на станцию Раямяки и к берегам Финского залива. Надо было пробиваться к границе. Сами мы не пробились бы. Раньше не было умения, теперь не хватало решимости и сил. Выручили русские братья. И, как доброе предзнаменование, мы разобрали название встретившегося нам русского бронепоезда. Белыми буквами на серой броне — Л Е Н И Н

КУРСАНТСКИЕ ГОДЫ

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА

Первые несколько месяцев беженцы из Финляндии, а таких было много тысяч, — более десяти, говорили, — устраивались и осваивали новую среду и новые социальные условия. Финские беженцы были из рабочих и они не хотели оставаться нахлебниками. Да и не так уж много этого хлеба и было. Говорят — семья не без урода. Что ж, в самом деле, в рабочей семье финских беженцев встречались люди, выбитые потрясениями из колеи, опустившие руки. Были, к сожалению, и агенты врага. Но не они определяли политическое лицо этой многотысячной здоровой пролетарской среды.

Одни, преимущественно люди старших возрастов и семейные, взялись за восстановление экономики и, как пишет М. М. Коронен в своем исследовании «Финские интернационалисты в борьбе за власть Советов», пустили в ход инструментальный завод «Войма» в Петрограде, литейный завод в Муроме, бумажную фабрику в Костроме, деревообрабатывающую — в Буе. Другие организовывали сельскохозяйственные коммуны и доставляли хлеб в голодающий Петроград.

И все же главной задачей не только дня, но ближайших двух-трех лет была вооруженная защита страны Советов, и финские красногвардейцы, для которых Россия стала новой родиной, выставили по крайней мере четыре стрелковых полка — 1-й, 3-й, 164(6) и 480-й и множество отдельных батальонов и отрядов.

Для меня этот путь начался со станции Белоостров. Помню медицинский осмотр, баню, питательный пункт. Из Белоострова — в Куликовские казармы возле Финляндского вокзала и после, когда они переполнились беженцами, — в казармы Семеновского гвардейского полка на Марсовом поле. Там тоже всем одинаково, и финнам; и русским — по фунту хлеба на день и соленый огурец. Это все, чем располагала страна. Приглашали на первомайские торжества, первые в рабочем государстве.

Все это не забывалось и, напротив, превращалось в наше духовное оружие. Может быть, именно такое начало пути — дружеское и братское, равное ко всем отношение — превратило подавляющее большинство разношерстной человеческой массы беженцев из Финляндии в воинов революционной армии, тех, которых мы с чувством уважения именуем Красными финнами?

Заметных изменений как будто не происходило. Одни фронты отодвигались, появлялись другие, и это становилось привычным делом, не вызывавшим особых тревог. И все же изменения происходили. Жизнь из месяца в месяц становилась все сложнее, и первоначальное упрощенное ее понимание, свойственное юношеству революционной эпохи, начало давать трещины.

О трудностях и радостях мирного строительства мы, солдаты, и не мечтали. И где он еще, этот мир, которого, по сути дела, мое поколение толком и не видывало? Наши трудности были более непосредственные. Не хватало знания и умения для выполнения простейших солдатских задач. С завистью следили мы за бывалыми солдатами русской армии и венграми, из бывших военнопленных. Ловко у них все получалось; быстро и даже изящно…

В школу хотелось и, по условиям времени, — военную, конечно. Знал я, что в Петрограде существовали финские командные курсы, призванные превратить рабочего парня в командира революционной армии. Приходилось и встречаться с выпускниками этих курсов — стройными, ловкими, собранными и — не без этого — покровительственно-насмешливыми.

— Спрашиваешь, как мы танки Юденича под Питером раздавливали? Это просто делается, если у кого мужества хватает. Почти как раздавливают живность в солдатской одежде. Так и мы эти танки — к ногтю…

И говорилось это тоном, не оставляющим ни малейшего сомнения, что уж у кого-кого, а у рассказчика этого мужества было даже в избытке. Конечно, ничего тут плохого нет, если и прибавил малую долю. Не обязательно ж брать на веру все, что говорят. Бери столько, чтоб тебе в самый раз вышло, сколько требуется, а остальное верни или побереги. Сам после расскажешь…

На вопрос, какие они, танки, ответ был тоже очень образный:

— Железные они и похожи на хлебный фургон. Только без колес. На ходу коптят, как утюг, когда его для глаженья нагревают…

Сколько раз позже, в одних случаях, с бурной радостью, в других с горем, убеждался, что в этом рассказе было много правды. Поутюжить танки могут, и как еще могут!

Открытие в Петрограде финских советских командных курсов сейчас, через десятилетия, требует пояснений, поскольку такая необходимость не ясна современным поколениям советских людей, а наши враги не раз высказывали по этому вопросу немало самой злейшей клеветы.

Финны, в числе других примерно сорока народностей и наций Российской империи, к военной службе не привлекались. Они не имели, поэтому, военно-обученных кадров и, кроме того, — не владели русским языком. В мою юность имущие классы Финляндии всячески избегали общения с русскими и дело доходило до того, что даже ученые-литературоведы изучали произведения русских классиков в переводах на западноевропейские языки, пренебрегая подлинниками.

Между тем, в рядах РККА действовали финские советские части и подразделения и для подготовки командных кадров для этих частей, в ноябре 1918 года в Петрограде были открыты 3-и финские советские командные курсы. Позволю себе привести выписку из приказа Всероссийского главного штаба от 14 ноября 1918 года:

> «Для подготовки командного состава Рабоче-крестьянской Красной Армии, распоряжением Военно-учебного управления открыть финские командные курсы в Петрограде».

Разъяснять это, думаю, не требуется.

Все военно-учебные заведения того времени использовались главным командованием как значительная ударная сила на самых угрожаемых участках многочисленных фронтов. В частности, для борьбы с полчищами Юденича военно-учебные заведения Петрограда только в 1919 году выставили по крайней мере четыре курсантских формирования. Эти формирования получили настолько высокую оценку командования, что в приказах писалось:

> «Советская республика обязана петроградским курсантам защитой своей красной столицы — это дело курсантов и их командного состава».

В другом приказе констатировалось:

> «Если бы все действующие части Красной Армии могли бы гордиться таким составом своих формирований, война за мир была бы уже закончена».

Курсанты финских командных курсов не были исключением. В эти критические дни лета и осени 1919 года финские командные курсы выставили против войск Юденича две курсантские роты, после — батальон курсантов под командованием Щукина. В ноябре 1919 года против Юденича

выступил весь состав курсов. В один из самых критических дней взвод финских курсантов бился врукопашную с танками Юденича. Об этой схватке Н. И. Подвойский, один из руководителей октябрьских боев 1917 года, писал в статье «Коммунары защищают Красный Петроград»:

> «…Неслыханным героизмом отличались финские курсанты. Когда впервые на фронте появились белые танки, когда одно слово «танк» вызывало паническое отступление, финские курсанты бросались на танки в атаку. Под деревней Кошелево взвод финских курсантов захватил было танк в плен, но в это время подоспело еще два танка, и взвод почти весь был уничтожен».

Считаю своим долгом назвать фамилии героев, павших в этой схватке с танками Юденича, — настолько верно, насколько это удалось мне установить:

командир роты Коломийцев В., командир взвода Партанен А. и курсанты: Халандер А., Цилиус Ю., Талске Н., Тяхкя П., Каара Л., Лайрен Л., Покконен Н., Людер А., Палконен Э., Летоваара А., Вяйляйнен Ю., Хейкконен К., Пийк Р., Энглунд А., Пиенимяки С., Лемотайнен М., Икконен П., Нюрнберг Н. и Веняляйнен Л.

Из отдельной роты курсантов, 25 мая 1919 года выступившей в составе очередного курсантского формирования на Ямбольский участок фронта, на курсы вернулось менее 20 человек.

Доблестно, не жалея себя, в частях армии бились выпускники финских командных курсов. Так, например, в десантной операции на Любский Песок на западном берегу Онеги, из 13 командиров в батальоне Николая Ивановича Баржановского (1 батальон 6 финского полка) с 6 по 14 ноября 1919 года пало десять.

Следующие командиры и курсанты были награждены именными часами от «ЦИК Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов»: командир роты Иванов Н., командиры взводов Харанен Я и Матикайнен Н., курсанты — Иваринен, Хонканен, Кюммяляйнен, Лехмус, Нурминен, Кокконен, Кирьяйнен, Богданов, Хуухтола, Лерме, Сейле, Форстрем, Пирайнен, Хельман, санитар Виртанен и санитарка Тойлайнен.

Несколько раньше на Олонецком участке фронта именными часами были награждены Покконен А., Устинен А., Левянен Т. и другие.

Эти бои происходили на первых ступенях к новому миру, когда рабочий человек, не воитель, а труженик, создатель нового, — вынужденно оставлял свое рабочее место, чтобы добровольно взяться за оружие.

Солдатами не рождаются, и долог был путь от неумелых попыток одиночек, от упорства в бою мелких групп до массового героизма народа.

Боевой путь финских советских курсантов был частью этого славного пути.

И вот я сам прибыл на финские командные курсы. Был период лагерной учебы Большинство курсантов и командиры находились в лагерях, в Усть-Ижоре. В казармах, на Первой Съездовской, я застал около полусотни курсантов, каких-то еще военных и человек тридцать таких же, как я, прибывших из частей армии.

Увиденное озадачило. Шум, крики и ругань, страшно накурено. Всюду газеты, помятые и порванные, на полу окурки. Возбуждение необычайное. Необузданная, буйствующая толпа.

Сколько хорошего слыхал, и вдруг такая неразбериха. Не ошибся ли адресом? Но тут спорящие заметили меня, новичка, и набросились. Тащат за рукава и ответа требуют, резко и нетерпеливо:

— Вот ты свежий человек, скажи — правильно сделали, что врагов перебили?

— Врагов? — Я с ходу выкладываю все мое миропонимание: — Врагов убивать и надо! Сколько они наших…

Тут другой подбегает. Не дал закончить фразы, в другой угол тащит:

— Своих убивали, понял? Это ж бандитизм, белогвардейщина. Верно?

— Если своих, да еще умышленно, — это бандитизм…

Подбегает еще кто-то, тоже тащит и свое внушает. Не раз перетаскивали меня так из угла в угол, и я соглашался, отказывался и опять соглашался, смотря по тому, в какой угол тащили и что внушали.

Потом, должно быть, устали. В покое оставили:

— Этот полный идиот. Ничего не соображает.

Согласился и с этим. Я действительно ничего не понимал.

Из руководства никого не было. На лагерное время обычно оставляли караул из полубольных и кого-нибудь старшим из таких не особенно нужных…

Старшим был высокий финн на костылях. Он не раз показывался в дверях, видно речь держать намеревался. Но ему и слова не давали сказать.

Люди прибывали небольшими группами, большинство в фуражках. Не курсанты, значит, — те в пилотках. Должно быть, красноармейцы-финны из частей гарнизона или военизированной

охраны. Некоторые со звездочками на рукаве. Эти из частей ЧОН. Шум то утихал, то разгорался с новой силой.

К обеденному времени — понятие более астрономическое и к еде прямого отношения не имело, — приехал Густав Ровио, комиссар. С ним Тойво Антикайнен и человек двести курсантов.

В одной из комнат второго этажа начался митинг. Говорил Ровио.

Постепенно прояснились обстоятельства дела, вызвавшего такую бурю. Обстоятельства неслыханного, гнусного предательства.

Накануне, вечером 31 августа, во время заседания на улице «Красных зорь», 26—28-ю выстрелами из револьверов было убито 8 и ранено 9 руководящих деятелей Коммунистической партии Финляндии и финской эмигрантской общественности в Петрограде. С особым остервенением убийцы набросились на руководящих работников финских командных курсов, из которых некоторые чисто случайно оказались на этом совещании. Первыми выстрелами был убит неустрашимый большевик Юкко Рахья, только недавно передавший обязанности комиссара курсов Густаву Ровио. За ним был убит один из старших командиров курсов Вийтасаари и ранен помощник комиссара А. Покконен. Истребление остальных шести человек и ранение еще восьми, невооруженных коммунистов, не требовало большого времени.

Убийство было совершено так называемой «оппозицией» — лицами, носившими партийные билеты, но считавшими себя «носителями новых идей». После этого наименование было уточнено — «оппозиция убийц».

Речь Ровио, спокойная и хорошо аргументированная, удовлетворила большинство присутствующих. Не всех, однако. Некоторые кричали, шумели. В особенности те, в фуражках. Заодно с ними и отдельные курсанты, в малом числе, правда.

Можно не сомневаться, что число их было бы большим, если бы «оппозиции» удалось пробраться в курсантскую среду и укрепиться в ней. К счастью, этого не случилось. Курсы имели свои политорганы и во главе их стояли военные комиссары редкостного умения и силы.

Первым военным комиссаром курсов, с ноября 1918 по апрель 1919 года, был Эйно Рахья, коммунист, сопровождавший Владимира Ильича Ленина на последнем этапе пути из политических изгнанников в Председатели Совета Народных Комиссаров страны.

В апреле — мае 1919 года обязанности комиссара курсов исполнял Отто Вильгельмович Куусинен, не требующий рекомендации в советской среде. С июня 1919 года по июль 1920

года комиссаром курсов был отважный петроградский большевик, один из братьев Рахья, Иван (Юкко). После — Густав Ровио, личный доверенный Владимира Ильича Ленина в один из самых трагических периодов в истории нашей партии.

Таких комиссаров не обманешь и не проведешь!

Достаточно высоким был и политический кругозор курсантской массы.

Не имея поддержки среди организованной части финской эмиграции в России, руководство «оппозицией» опиралось главным образом на мелкие партийные группы, расположенные за городом или на его окраинах, на отсталых одиночек и, в целях ускорения террористического удара по руководству партии, теснее связалось с теми темными силами, которые, по словам Ф. Э. Дзержинского, «держали связь с финской белогвардейщиной, а для отвода глаз занимались контрабандой в нашу пользу».

После Ровио выступил Тойво Антикайнен. Он говорил взволнованно, прямо и чрезвычайно резко. Сразу стало ясно, что такого не напугаешь окриками и не подавишь чужой волей. Много раз, после уже, я встречался с Антикайненом, но первая встреча оставила неизгладимое и, может быть, наиболее верное представление об этом одаренном и сильном человеке. При всей своей многогранности Тойво Антикайнен прежде всего был бойцом политического фронта, массовиком в самом лучшем понимании слова, неустрашимым и пламенным пропагандистом бессмертных идей коммунизма.

Можно полагать, что те, на плечи которых выпала нелегкая задача — удовлетворять запросы многотысячной и разношерстной массы беженцев из Финляндии, не всегда находили лучшее решение, допускали отдельные ошибки и промахи. Такие ошибки, по-видимому, являются уделом тех, кто работает, руководит и решает. Только критикующим, отстранившимся от общих усилий такая опасность не грозит.

Революционная борьба пролетариата не бывает «чистой». Ее непременным спутником являются мелкобуржуазные элементы, с их большими и опасными слабостями. И такие элементы, — как учил Владимир Ильич Ленин, — «нельзя прогнать, нельзя уничтожить, с ними надо ужиться».

Финляндия не была исключением. Напротив, преобладавший в ней мелкобуржуазный уклад жизни не мог не дать революционному движению промышленных рабочих, — вчерашних батраков и торппарей, — сильнейшего мелкобуржуазного заряда, а времени для перевоспитания мелкобуржуазных элементов история сознательному рабочему

движению Финляндии не оставила.

Вместе с горечью поражения и с появлением новых трудностей еще больше оживились шатания и разброд. Определенное значение имело и стремление финнов в СССР к национальной обособленности, оправдываемой языковым барьером. Но это стремление имело и свои отрицательные последствия. Небольшие национальные колонии, оторванные одна от другой тысячами километров, без единого и квалифицированного руководства, жили еще прошлым, тем, что история опровергла, и происходящее рассматривалось с позиций минувшего дня.

В такие периоды и в такой среде крикливая фраза и даже самый дикий вой находят приверженцев. Прямой агент врага Туоминен и Войтто Элоранта, человек с сомнительным прошлым, искали людей для совершения намеченного злодеяния и находили их. Показательно, что когда комиссар финских командных курсов Густав Ровио выступил с докладом о совершенном злодеянии перед небольшим коллективом финнов на станции Дибуны, ему, кроме доклада, пришлось еще семь раз взять слово, чтобы направить обсуждение вопроса по верному руслу. Этот небольшой коллектив на станции Дибуны и еще несколько таких же и были опорой «оппозиции убийц».

На Марсовом поле, при огромном стечении народа, были похоронены жертвы этого бандитского налета и тогда же, рядом с именами жертв Великой революции, на сером камне были высечены восемь финских фамилий: Э. Саволайнен, И. Рахья, И. Вийтасаари, В. Иокинен, К. Линквист, Ф. Кеттунен, И. Сайнио и Т. Хюрскюмурта.

Давно это было. Прошло уже пятьдесят лет, но писать об этом надо. Проникновение вражеской агентуры в среду рабочего движения свойственно не только двадцатым годам и не пройденный уже этап. Нельзя считать исчезнувшей и мелкобуржуазную стихию в мировом рабочем движении.

КУРСАНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Большинство курсантов участвовали в финляндской революции 1918 года. Но это были не подавленные неудачами люди, а воины, закалившиеся духовно и готовые к боевым действиям.

Финская рабочая молодежь 1918 года не была молодежью «второго сорта», но носила на себе отпечаток создавшей ее тихой полухристианской среды. Молодые финские рабочие уступали своим русским сверстникам в главном, решающем — в

понимании роли организованности и дисциплины.

Прошло два года в Советской России, величественных, тяжелых и тревожных. Росло новое, и оно прорывалось в душу каждого советского человека. И финская рабочая молодежь в России охотно впитывала в себя это новое, узнавало в нем свое, ранее мерцавшее вдали, и росло вместе с этим новым. Молодежь 18—20 лет и составляла лучшую часть курсантов, наиболее энергичную, активную, жаждущую знаний.

Были и отцы семейств — зрелые, достойные люди. Но тут следы старого воспитания давали о себе знать — и работать с ними было куда труднее. Часть питомцев состояла из уроженцев Петрограда и ближайших к нему городов и сел. Тоже молодежь.

Дружбу и товарищество скрепляла общность судьбы и общность мечты, а многих и общая горечь поражений. Связывала и фронтовая дружба, а кое-кого и далекие детские годы, общие знакомые.

Еще в Хельсинки я знал Ялмари Кокко, видного спортсмена, постарше меня годами. Знакомство наше, правда, было почти односторонним. Тогда Кокко меня едва замечал. Он имел более представительное окружение. Я же всячески вертелся около него и стремился перенять все приемы и повадки своего кумира. Да, все, кроме ухаживания за девушками. Они вертелись около него, а на меня, молокососа, не обращали ни малейшего внимания.

Кокко и в школе считался сильным спортсменом, добрым товарищем. Теперь наше различие в годах как бы стерлось, а вместе с ним и его былое превосходство. Теперь я и сам «крылом пыль поднимал». Вспоминали, посмеивались.

…Мне рассказывали, как погиб Ялмари Кокко. Раненый, он был захвачен финнами и расстрелян. В момент казни он порвал рубаху и обнажил могучую грудь с татуировкой названия финского рабочего спортивного союза: — Бейте!

Солдаты опустили винтовки. Кокко застрелил офицер.

Может быть, это было не совсем так. Может, вовсе не так. Но мне дорог этот рассказ, даже если он был легендой.

В Хельсинки я видал еще, правда издали, Оскари Кумпу. Но больше тогда слышал о нем. Борец тяжелого веса, участник Олимпийских игр 1912 года И вот он — краса и гордость школы, в моем отделении! Много встречал я людей, все больше хороших. Добрее Кумпу — никого. Лет тридцать, наверно, ему тогда было, и вес для курсанта двадцатых годов чудовищный — под девяносто килограммов!

Зная его доброту и силу, мы нещадно эксплуатировали его на тяжелых работах. А в зимнее время, когда уж очень холодно бывало, использовали Кумпу в роли генератора тепла. Заманим

его в угол и кидаемся на него всем взводом: «Братцы, не выпускать слона из угла!» Повозится он с нами, сам согреется и, глядишь; легко раскидав нас, вырвался. Ничего мы с ним поделать не могли. Сила!

Кумпу сам был мягок и добр и не терпел, когда обижали слабых. Как-то Абель, тоже борец, но не такого веса и уж совсем иного характера, довел курсанта Пуллинена до слез, демонстрируя на нем свою силу и технику, увлекся так, что и наши уговоры не подействовали. Каким-то там «нельсоном» Кумпу уложил Абеля. Потом поднял его за воротник, встряхнул хорошенько и предупредил: «Если еще раз такое будет, то я тебя так ударю об стенку, что придется твоим родным тебя две недели ложкой со стены соскабливать. Ты понял, милок?» И «милок» не забывался более.

Попробовал Кумпу свои силы в спорте и в те годы. На любительскую арену тогда возвращались ученики профессионала-феномена Ивана Поддубного, и где же любителю справиться с ними? Выше второго-третьего места Кумпу не поднимался. Может, и горевал Кумпу, но виду не показывал. Бывало, скажет: «Прошло мое время», — и все.

Погиб он нелепо. Хороший пловец утонул в Олонке.

Был среди курсантов и мой хороший старый знакомый — Гуннари Лунквист, финский швед. Высокий, стройный и на вид гордый. Словом, настоящий швед. Внутренне — добрый и верный друг. Погиб он в бою во время лыжного похода на Кимасозеро. Похоронили мы его в Барышнаволоке, и не его одного. Четырех курсантов мы там потеряли. Фамилию Лунквиста помню, а остальных — нет.

Над этой могилой с речью выступил наш командир Тойво Антикайнен, и мы торжественно обещали ее не забывать. Слово дали, а вот получилось, что забыли.

Теперь жизнь торопит, требует: выезжай немедля! Найди могилу погибших товарищей. Положи на нее дикий камень. Придут потом люди — обелиск поставят. И фамилии остальных узнай! Могил много в стране, но но должно быть забытых и заброшенных. Не должно быть, и — не будет!

В числе курсантов была девушка — Тойни Мякеля. Высокая, стройная и красивая. Замечательный товарищ и верный друг. Именно товарищ и друг в лучшем понимании. Жила она отдельно, за военным городком, училась в нашей группе. Внезапно исчезла. Теперь знаем: была на подпольной работе в нелегальной коммунистической партии Финляндии. Долгие годы провела в тюрьме. Много видела горя, но познала и радость борьбы. Было и личное счастье у нашей Тойни — товарища и

подруги Тойво Антикайнена.

Она и теперь такая же — добрый товарищ и верный друг.

Располагалась наша школа необычайно просторно, в огромном здании бывшего Первого кадетского корпуса на Съездовской линии. В этом здании заседал один из первых съездов Советов новой России. В память об этом событии Кадетская линия была переименована в Съездовскую. Напротив школы, через Неву, виднелся памятник Петру Первому. Здание, в котором мы учились и жили, старинное, заложенное еще в петровские времена, было удобным — все под одной крышей: просторные жилые помещения, учебные классы, спортивные залы, санчасть, кухня, столовая, караульные помещения. Имелась даже баня с плавательным бассейном, маленьким и, по тому времени, разумеется, без воды. Здесь все было для занятий: просторный внутренний двор, величественный актовый зал с двумя ярусами окон и с барельефами виднейших полководцев Российской империи между ними.

Тут же, на стенах, более скромно, краской, списки курсантов, павших в боях с войсками Юденича и, уже после, когда мы за заготовку дров для города взялись, — фамилии лучших наших лесорубов, что-то вроде прообраза «красной доски».

Только учебные стрельбы на сто метров в зимнее время проводили в другом месте, но совсем недалеко.

На летнюю учебу выезжали вначале в Усть-Ижору, а после в Петергоф. В палатках не жили. Они стояли на территории лагеря только для учебных целей. В лагерях курсанты жили в настоящих виллах с балконами — против первых ворот в величественный Петергофский парк. Убежден, что ни одна другая военная школа не располагалась с таким комфортом.

Учебный процесс в школе был чрезвычайно сложным. Если по общеобразовательному уровню, в объеме четырех-шести классов, мы существенно не отличались от курсантов других пехотных школ, то в области русского языка наши познания равнялись почти нулю. Русский язык у нас не входил в число обязательных дисциплин. Изучали его по желанию. Не хочу в этой серьезной ошибке обвинять руководство, только ищу объяснение факту. И оно есть. Революционная эпоха выдвинула много великих, срочных проблем. Ближайшее будущее обещало так много и так властно торопило…

Только отдельные курсанты свободно владели русским языком, другие, знали лишь сотню-другую слов. Большинство же языка не знали вовсе. Преподавание военных дисциплин проводилось с помощью переводчиков из числа самих курсантов. Переводчики более или менее знали два языка, но не знали

финской военной терминологии. Дело доходило до курьезов. Так, предварительная уставная команда для изготовки к стрельбе — «по мишени» понималась и переводилась как «помещение». Так и командовали, под дождем и в снегопад: «Хуонесса!», что означало «В комнате».

Правда, слушатели старшего курса, кроме некоторых, понимали речь руководителя. Здесь роль переводчиков сводилась лишь к уточнению ответов. Но до старшего курса путь далекий. Целых два года! Среди нас были и такие, как Эрнст Бек и Лунквист, которые не знали русского языка, плохо владели финским, а нужные записи вели на шведском. И хотя для многих учеба была тяжелым трудом, учились мы жадно. Все новое, узнанное, волновало и толкало на новые поиски.

Спорили, бывало, в казарме шумно и часто бестолково. Кто-то доказывал, к примеру, что человеческую речь будут передавать на расстояния без проводов. На большие расстояния, на сотни километров, по каким-то «волнам из ничего». Волны эти идут себе, и по ним слова. Ну надо же выдумать такое! Набросились мы на него, на выдумщика. Сдался, конечно. Потом и сам удивлялся, как мог поверить такой ереси: тысячи волн в минуту и слова с них сыплются. Комбат Гиммельман скажет пару слов, и с ними полдня побегаешь. А если тысяча в минуту…

Когда страсти очень уж разгорались, в спор вмешивался Кумпу и давал дельный совет:

— Изучите! Потом и петушитесь.

Но в науках и сам он был не силен.

Тяжело нам давались основы материалистического понимания мира. Старые представления рушились, и мы расставались с ними без сожаления. Но новое не всегда доходило до нас в правильном освещении. Некоторые положения марксистской философии воспринимались в массах довольно примитивно. А упрощенное, прямо-линейное толкование запутывало, вызывало недоумения.

Полностью, например, отрицалась случайность. Все, — утверждали, — до мельчайших деталей, предрешено и закономерно. Между тем отрицался и бог и вера в бога. Мы в него и — в детстве не особенно веровали, а тут точно узнали: нету бога и не бывало!

Получалось непонятно. Раз все так заранее решено и измерено, значит, есть такая сила над людьми, которая этим занимается. Учитывает все и каждому положенное отделит. Пусть она богом ныне не именуется, а по-ученому как-то — необходимость или всеобщая связь, — какая же разница?

Впрочем, и старый бог не сдавался. Как-то я шел по Невскому

и на углу Литейного встретил крестный ход, с иконами, хоругвями. Не хотел я снять пилотку, и получил такую оплеуху, что, падая, понял: может, эта новая сила кое в чем и сильнее старого бога, но и он, видать, еще не дистрофик.

И много позже, вспоминается, встречались еще попытки даже сложные общественные процессы рассматривать и оценивать по формуле «Да — Нет».

Несмотря на все трудности обучения, выпускники нашей школы по объему приобретенных знаний не уступали окончившим другие военные школы такого ранга. Как ни парадоксально звучит такое утверждение, все же это несомненная истина. И объяснение простое: советская власть, партия и военное командование, включая и высшее, сделали все возможное для нашей успешной учебы.

На курсах, как потом и в школе, подобралось превосходное командование и знающий свое дело преподавательский состав. Первым начальником финских командных курсов и после некоторого перерыва — начальником Интернациональной военной школы, — был Александр Инно, с образованием академии генерального штаба старой армии.

Финским отделением Петроградской пехотной школы командовал Изместьев, в прошлом генерал-лейтенант старой армии, командир Сибирского стрелкового корпуса в первую мировую войну. Автор первого, наверное, учебника по тактике пехоты для военных школ Красной Армии.

Не все генералы старой армии с ходу и безоговорочно признали Советы. Может быть, колебался и Изместьев. Ходили слухи о том, что свой учебник по тактике пехоты он написал в дни превентивной изоляции в Петропавловке. Достоверно знаю, что с этой крепостью он был знаком. Изместьев покорял нас разумной требовательностью, знаниями и глубоким пониманием среды, ее нужд и стремлений. Плохо владея русским языком, мы не все понимали и не все знали об Изместьеве, но любили его таким, каким он был. Особенно запомнился он нам, курсантам, в роли… переводчика. Нашу школу посетила большая группа делегатов Конгресса Коминтерна. Они приехали в Петроград из многих стран мира, говорили, на разных языках, а переводчик был один — бывший генерал-лейтенант Изместьев!

Мы не страдали излишней чувствительностью, но у многих показались слезы, когда Изместьев, передавая школу новому начальнику, прощался с нами. Сильный руководитель, хороший человек, немного загадочный и в то же время какой-то очень свой.

Изместьева заменил Е. С. Казанский. Старый вояка из унтер-офицеров пулеметной команды царской армии, видный командир

в период интервенции и гражданской войны. Это был энергичный начальник, знающий, требовательный, несколько тяжеловатый. После Казанского, до конца моей учебы, опять был А. Инно.

Все они превосходно понимали требования армии и войны, стремясь одновременно понять задачи нашей школы и ее особенности. Многим обязаны им первые «краскомы» из красных финнов!

Гордостью школы был Михневич, генерал от инфантерии, профессор. Нелегким, по-видимому, был и его путь к Советам. Но он, патриот России, как и Изместьев, не имел выбора. Подлинную России представляли только Советы. Белые — уже не Россия. Белые — это интервенция и порабощение России ее могущественными «союзниками» на многие годы.

Вспоминается такой случай. Трамваи по городу ходили редко и нерегулярно. Михневич был уже стар, и ему стоило большого труда добираться на занятия, в особенности на утренние. Мы, курсанты старших курсов, попросили командование посылать за ним по утрам лошадь. С какой радостью Михневич сказал однажды утром: «Советская власть подала мне экипаж».

Верил Михневич в военное будущее своей страны безгранично. На всю жизнь запомнились слова, сказанные им осенью 1920 года: «Мы бедны и разорены. Армия наша вооружена плохо. Малого достигла и наша военная наука. Но не за горами то время, когда наша армия будет вооружена лучше знаменитой французской. И военная наука достигнет такого расцвета, что вызовет страх у врагов наших. Меня уже не будет, но вы будете. И прошу не забывать тогда, что это сказал вам я, генерал от инфантерии, профессор Михневич».

Много лет спустя, когда в буре тяжелейшей войны наметились первые признаки перелома, я часто вспоминал эти слова Михневича. В них была пламенная вера патриота и предвидение ученого.

Вскоре, как-то один за другим, Михневич и Изместьев скончались. Похоронили их с высокими воинскими почестями.

Батальоном курсантов командовал Гиммельман. В прошлом, говорили, — подполковник старой армии. Это был исключительно выдержанный человек, никогда не повышавший голоса. Казалось, он мало и вмешивался в жизнь батальона, но все замечал и ничего не забывал. К курсантам обычно претензий не предъявлял, но заметив вялое или неправильное выполнение ими какого-либо приема, собирал нас, младших командиров, и так гонял полдня, что мы приобретали понимание предмета, правильные приемы да еще и желание все это передать курсантам Вселить желание Гиммельман умел!

Слушать его и учиться у него было и приятно и нелегко. Многие десятки раз мы повторяли все один и тот же прием, пока, наконец, он, потирая руки и весело улыбаясь, не скажет:

— Ну, кажется, начинает получаться. Остановимся на этом.

По вечерам этот немолодой уже человек, полуголодный, часами сидел в казарме, добиваясь усвоения всеми курсантами программы учебы. Никогда Гиммельман не допускал унизительных для человеческого достоинства «воспитательных мер».

Через многие годы и, опять в чрезвычайно тяжелых условиях, мне приходилось заниматься обучением курсантов и сколько раз возникала мечта:

— Гиммельмана бы нам, Гиммельмана!

Из многих преподавателей помню еще двух. Артиллеристов готовил известный петрозаводчанам Ф. Ф. Машаров. С нами, стрелками, занимался Иванов, кажется, капитан старой армии. Были и другие, конечно.

В обучении курсантов широко применялись наглядные пособия — всевозможные модели, макеты. Незаменимым помощником был мел. Схемы и чертежи использовались настолько умело, что это в какой-то мере компенсировало слабое знание языка. В памяти сохранился первый урок по фортификации. Так в те годы называлась отрасль науки, ныне несравненно более широкая и под новым названием: военно-инженерная подготовка. Преподаватель выставил табурет и дал задание: «Времени 15 минут. Нарисуйте этот предмет». По нашим рисункам он более или менее точно выявил подготовленность каждого курсанта в группе.

Слабое знание курсантами языка, недостаточное количество наглядных пособий требовали от преподавателей огромного труда и большой изобретательности.

Учебный процесс и вся жизнь школы опирались на широкую систему партийно-политической работы, на умелую организацию духовного воспитания курсантов. Во главе этого нелегкого дела стоял Густав Ровио. Он один из тех революционеров, которые, по велению партии и собственной совести, спасли В. И. Ленина от агентов Временного правительства и корниловцев, спасли в те тяжкие времена, когда такая преданность Ленину сулила одно преимущество — первую пулю врага. Ровио был комиссаром школы, и не мне — курсанту и рядовому коммунисту — выносить суждения о нем. Скажу только, что ему верили, относились с уважением. И он нам верил. В его лице мы имели старшего товарища и друга.

Кроме работы по воспитанию коллектива, в летнее время, в

период лагерной учебы, делались попытки установить общение курсантов с населением окружающих сел, с которым нас связывала общность языка. Целью таких встреч была пропаганда среди крестьян советского общественного строя и антирелигиозная работа. Немногое, наверное, дали эти попытки.

Бедняки, за малым исключением, твердо стояли за Советы и не нуждались в нашей агитации. «Понимаем, товарищ курсант, власть — наша и хорошая власть! Нам бы теперь ситцу, гвоздей, мыла… Да хотя бы даже керосину», — обычно говорили они.

Зажиточные обрастали жиром. И как тут не богатеть! Трудности великого переломного времени опрокинули старые понятия о стоимости вещей. Несметные богатства столицы огромной империи, в особенности личные вещи и предметы быта дворянских семей и служивой интеллигенции, за бесценок расползались по кулацким хуторам. Все за картошку, муку, за кусочек сала. Вещи надежнее денег, а времена меняются, — рассуждали кулаки.

За бальные туфли, узкие и замысловатые, явно не по ноге крестьянке, хозяин с видом благодетеля отвешивает на безмене несколько фунтов картошки.

— Помогать нам теперь друг другу надо… Доброта меж людей — первое дело Кто его знает, как еще повернется.

Такой выменяет и рояль концертный за пуд картошки. Потом похвастается:

— Пианино покупают, дураки! Что в нем? А это — вещь! Ножки-то какие, а? Блеск какой! Распорю внутренности — и стол будет, да еще с ящиком.

Или зеркало тянет, большое, из дворцовых, видно. По высоте не умещается в кулацкой избе, и вот рубит он зеркало зубилом на две части. Неровно вышло, уголок откололся. Ничего, вещь-то господская!

Не поможет тут курсантское слово! Не повлияет на таких.

По воскресным дням посылали нас вести антирелигиозную работу. Кампания тогда антирелигиозная проводилась. Не знаю, насколько силен в этом деле был сам Ровио, но наши-то знания умещались в два слова: «опиум» и «долой». Много с такими знаниями не сделаешь! Я и не пытался. Обменяю сахарный паек на самосад и возвращаюсь в казарму.

— Не получается у меня. Не умею.

— Надо нападать. Самому нападать надо. Так легче.

— Напал бы я, но они первые налетают. Бабы и старушки всякие!

— Значит, не можешь?

— Не могу, товарищ комиссар.

— Ладно уж. Иди, посмотри, как остальные делают.

Может быть, другие работали более успешно…

Создание в нашей стране такой интернациональной школы, пожалуй, было первой попыткой. И несомненно удачной, несмотря на отдельные слабости и промахи. Как политический руководитель, Г. Ровио несет ответственность и за эти слабости и промахи. Но хотелось бы на его счет отнести и часть того хорошего, положительного, чем славилась школа.

Не для баланса. По справедливости.

Курсантскими ротами и взводами командовали выпускники финских командных курсов, краткосрочного, до полугода, обучения, имевшие немалый боевой опыт и прошедшие, как правило, повторные курсы, иногда ошибочно именуемые высшей школой.

Наиболее ярким представителем этого нового поколения командных кадров школы был командир пулеметной роты Тойво Антикайнен.

Антикайнен командовал не нашей ротой, но к нам захаживал, когда раз в неделю бывал дежурным по школе. Мы часто в свободные вечерние часы попарно или мелкими группами сидели — вначале из-за холода в казарме, а потом уже по привычке — на толстой трубе старинного водяного отопления и вели тихие задушевные беседы. Вспоминали тех, которых уже не было с нами, и тех, которые оставались вдали. Часто возникал вопрос — что будет с нами? Что ждет нас в жизни? Приходил Антикайнен, вступал в разговор, и как-то незаметно получалось так, что в дальнейшем уже он направлял его ход. Никаких особенных речей он не произносил и долго в роте не задерживался. Несколько слов всего и скажет, но именно такие слова, которые давали правильное направление ходу мыслей и даже поступков. После таких его посещений у курсантов появлялись дела. Пуллинен, например, направлялся в спортзал, к рапире, которой так великолепно владел. Другие садились за книги, учебники и уставы, а я шел к Пихканену, старшине нашей роты, свободно владевшему двумя языками:

— Помоги, Вильфрид, разобраться с этими тремя русскими буквами. Не получается у меня, не могу сам…

Антикайнен любил людей любовью верного, но сурового друга, и я не представляю себе обстоятельств, когда бы он из-за любви к другу не сказал бы ему самой суровой правды.

Однажды на общем собрании меня избрали контролером от курсантов по расходованию продовольственных пайков, крайне ограниченных. И тут, вскорости, из Канады прибыло свиное сало, купленное канадскими рабочими-финнами курсантам-финнам в

России. Решения собрания, как распределить это сало, не было, и меня атаковали многие курсанты, как в нашей роте, так и во второй и пулеметной:

— Смотри, Топи! Мы тебя избрали, тебе доверили и сделай так, чтобы сало выдали только нам, финнам.

Правда, не все курсанты на этом настаивали, но многие, особенно более старшие по возрасту. Конечно, и мне хотелось получить как можно больший кусок этого сала и, следовательно, распределять его надо было возможно меньшему числу людей. Но чтобы только курсантам-финнам? Нет, так было бы неправильно!

— А как же остальные курсанты и командиры, обслуживающие?

— Не твоя забота. Топи. Финны нам, финнам, прислали на свои трудовые копейки… Смотри, не думай вилять…

Я обратился к Антикайнену, члену партийного бюро школы, который главным образом и занимался с нами, ротными организаторами:

— К завхозу вызывают, чтоб распределить это сало. Только я не знаю, как получится? Бузят ребята и некоторые требуют, чтобы только нам сало выдали.

— А ты как думаешь?

— Я? Чтоб всем курсантам и командирам. И обслуживающим тоже. Может и поменьше кому, но чтоб всем.

— Ну, правильно. Ты так и сказал ребятам?

— Нет пока. Возбужденные они. Не слушаются…

— Что, боязно? Тогда, может, я скажу?

— Нет, не надо, товарищ командир. Я сам.

Возвратившись в роту, я вечером так и сказал курсантам: решили сало выдать всем курсантам и командирам поровну, и немного обслуживающим. И я тоже так предлагал…

Никаких осложнений, конечно, не возникло. Общее мнение было такое: верно решили, всем!

Можно полагать, что уже первые шаги на трудовом пути обнажили перед Антикайненом несправедливость существовавшего общественного строя и простейшее деление людей на работающих и ничего не имеющих и на неработающих и владеющих всеми благами мира, — это давалось легко. Станок ученику, топор лесорубу и плуг батраку-подростку были орудием труда и средством познания мира. Но они не вывели и не могли вывести рабочую молодежь тех лет дальше первичного понимания разделения людей на бедных и богатых.

К пониманию сил, управляющих миром, Антикайнен пришел раньше других, опережая сверстников, вследствие его особой одаренности и жестокой требовательности к себе. Глубочайше

убежден, что первые успешные шаги в этом направлении Тойво Антикайнен сделал будучи курсантом финских командных курсов, в той особенно благоприятной среде.

Аналогичным, только своим путем, пришел в нашу роту ее командир Иоган Хейкконен, обладавший какой-то особенной мягкой требовательностью и тактом.

Достойными командирами были также помощник командира роты Иконен и командир нашего взвода Гренлунд. Остальных командиров в школе я, курсант, конечно, знал куда меньше.

Самое живое участие в нашем духовном созревании принимал Василеостровский райком партии Петрограда. Мы имели немало встреч с видными партийными и советскими работниками того времени, участвовали в партийных конференциях. Многие бывали на совещаниях партийного актива города. Мне, в частности, удалось присутствовать при обсуждении петроградскими большевиками двух «платформ» по вопросу о профсоюзах: предложений В. И. Ленина и особой «платформы» Троцкого. Ожидался приезд Ильича на собрание, и открытие его откладывали на час или на два. Потом объявили, что Ильич не приедет совсем. Собрание проходило без него. Речей не помню. Итоги голосования остались в памяти более или менее точно. Троцкий набрал около двух десятков голосов, предложения В. И. Ленина — около полутора тысяч.

Время от времени школу посещал Э. Рахья. Между ним и курсантской общественностью чувствовалась какая-то отчужденность. Причины ее не знаю.

Несколько раз в школе выступал Юрье Сирола, в нашем понимании самый эрудированный из красных финнов в России. К нему отношение было особенное-бережное и трогательное. Ни к кому такого не было!

Восторженно курсанты принимали и с благодарностью провожали блистательного оратора А. Ф. Нуортева. Он поражал нас глубокими знаниями, пониманием курсантской среды и ее устремлений, редкостным остроумием. Приглашали часто и ждали О. В. Куусинена. Но в годы моей учебы он в школе не бывал.

В Петрограде было голодно. Трудно приходилось и нам, курсантам.

Часть хлебного пайка отчисляли голодающим. Им же «приварочное довольствие». На день оставалось 300 граммов хлеба и сахар. Соль — тоже: по три золотника. Прямо говоря — маловато еды.

Света по утрам в казарме обычно не было, и ротный раздатчик еще в — сумерках оставлял на тумбочке два кусочка

хлеба. Тебе и твоему соседу. Съедали мы свои кусочки еще в постели, не открывая глаз. Стало быть, хлеба и вовсе не видели! Оставался сахар, но сахар не еда — курево! Его меняли на табак на взаимовыгодных условиях, конечно. Раньше выдавался табак, но нарком Семашко нашел курение вредным и это убеждение внушил армейскому руководству. Выдачу табака отменили, и мы стали «курить» сахар. Ничего особенного не случилось: некурящие не ожирели и курящие заметно не похудели.

В общем, питались мы, по-видимому, в пределах норм санаторного «разгрузочного» дня, после которого отдыхающий, захлебываясь от бурной радости, сообщает лечащему врачу: «Два кило потерял, доктор, два!»

Впрочем, выпадали иной раз и хорошие дни. Помню один такой случай. Группу курсантов, человек двадцать из разных рот, командировали в Петергоф для подготовки лагеря к переезду слушателей школы. Меня — старшим. Выдали нам хлеб на десять суток и по паре селедок па брата. Предупредили меня: «Ты — командир да еще и парторг роты! Смотри, чтобы продукты правильно распределяли, на все дни чтоб».

Смотреть я смотрел, только глазами моих товарищей… Проездных документов нам не выписывали: школа пехотная — топайте. За городскими свалками, где сейчас чудесный уголок города — Автово, устроили первый привал. А привал без еды не бывает, и мы поели, покурили. Ничего, недурно! За Стрельной — снова привал. И опять ели. Еще и поужинали В общем, денек выдался хороший. Нарушений никаких. А утром — неприятное открытие: хлеба осталось так мало, что не было ни малейшего смысла делить его на девять суток. Селедки вовсе исчезли. Решали мы, решали и сделали самое разумное — доели остатки тут же. Поработали день. Начали и второй, но в обеденное время работу бросили — сил не хватило. Лежим, спим, временами вспоминаем: «Бывают же хорошие дни!»

На третьи сутки подкатывает машина. Вскакиваем. Но дай бог, если Гиттис, командующий! Ругать он не будет — других натравит. Скажет пару теплых слов своему заместителю по учебным заведениям. Тот вызовет Инно и ему эти слова передаст. Да еще добавит самую малость. Так потом и пойдет — по ступенькам. Все понемножку добавляют, а образуется довольно тяжелая ноша. Внушением называется…

Но в машине оказались Ровио и врач. И не с пустыми руками приехали! Каким-то чудом узнав о нашей беде, привез ли белые булки, масло сливочное и настоящий кофе, горячий, в термосе. Вот это праздник!

Ровио постарше нас годами, с несравненно большим

жизненным опытом, умный и мягкий. Он не ругал, ничего не внушал. Пожалел, может быть, нас, болванов. Посетовал только: «До утра лежите, спите. Утром привезут вам паек на оставшиеся шесть дней. Только уж вы… Чтобы на каждый день…»

Обещать-то мы ему обещали. Но едва машина скрылась, у нас был готов коварный план: как только утром привезут паек на шесть дней, мы его тут же съедим. А тут, глядишь и опять Ровио с булками будет тут как тут!

Но на этот раз сорвалось. Предупредил ли кто, или начальство само догадалось, но только перехитрило нас. Паек стали доставлять только на один день.

Надо сказать, что заботу о здоровье курсантов проявляло не только наше, «местное» начальство. Приказом РВС республики разрешался отпуск особо ослабевшим слушателям школы продолжительностью до двух месяцев. В отпуск уезжало до пяти процентов от общей численности курсантов. Ехали в Тюмень, Омск, Новосибирск. Армейский паек там был куда лучше. И состоятельные колонисты, преимущественно немцы и эстонцы, охотно нанимали отпускников на временные работы. Кормили и даже платили за работу. Не щедро, конечно, но как надо — в натуре, мукой и солью.

Летом двадцать первого в доходягу превратился и я. Дали отпуск, сухой паек, и я поехал в Омск. Путевой паек я тут же съел, еще до отхода поезда. Потом всю дорогу, трое суток, лежал на багажной полке и мечтал о еде. Но мечты мои не сбылись.

Ехал я в Сибирь за здоровьем, а приехал… на противохолерные уколы. В Омске свирепствовала холера. Из города не выпускали, богатые колонисты в городе не показывались, движение по улицам ограничивалось.

Сыворотку вводили всем без милосердия. Поймает тебя на улице патруль — и на укол. А там все просто и молниеносно.

Скучно в холерном городе и питание умеренное. Для других, может, и достаточное, но мне мало Нарушаю порядок и прохаживаюсь по городу, вспоминаю.

…Здесь я уже бывал. Жил тут беженцем под властью Колчака. Потом гнали его мы от Петропавловска до Оби. Рубеж Иртыша белые перешагнули, не оказывая сопротивления. Как будто и вовсе не было здесь столицы «верховного правителя». Колчаковцы взорвали только мост. Но не весь, лишь крайний восточный пролет одним концом упал в воду. Уж очень белые спешили — это мы их тогда поторапливали. Сам «верховный» мчался, во главе первых эшелонов на Восток! Туда же, к восточным границам, удирали и белые чехи, и польские уланы, войска

Пепеляева и Каппеля, послы и посланники, кадеты, эсеры и мелкие лавочники. Гнали их части и соединения 3-й и 5-й армий Советов. Поезда шли только на восток. Многие застревали в пути. Эшелоны с беженцами стояли на перегонах без машинистов и кондукторов из-за аварий, поломок или потому, что более могущественные беглецы отбирали паровозы и топливо.

Дальше, за Новониколаевск, нынешний миллионный Новосибирск на Оби, — в те годы маленький и паршивенький городишко, — пошла только 5-я армия, а наша, 3-я, гарнизонами занимала города в Тобольской и Томской губерниях и в нынешнем Алтайском крае. Мне, правда, не довелось участвовать в этих походах. Нежданно-негаданно я очутился снова в Омске, точнее в его пригороде. Железнодорожная станция тогда стояла от города в пяти-шести километрах, и между ними проходила ветка. У станции был свой городок из нескольких десятков домиков — Атаманский Хутор. Здесь находился военный госпиталь, Благовещенский, и в нем — тифозный барак. Туда меня и положили, как сказали с сыпняком. Не то чтобы мне там особенно нравилось, но через полгода я побывал в этом бараке еще раз. Уже с брюшным тифом…

Я сразу узнал это место за рынком, почти напротив бывшего губернаторского дома. Вот и гостиница, которую тогда занимал личный состав нашего венгерского кавдивизиона. Лошадей размещали в ближайших пристройках. А вот железнодорожный мост, неподалеку — банк, в нем мы несли караульную службу. Это был лучший караул в гарнизоне Там вечером, по окончании рабочего дня, оставляли трех наших часовых, а разводящий не полагался. Закроют нас под замок, навешают на двери пломбы — и спи до утра! Чтобы этот караул проверить, надо было вызвать управляющего банком, бухгалтера и кассиров с образцами пломб. Дежурному по гарнизону не под силу поднять такую сложную систему. Не караул, а одно удовольствие!

От банка до деревянного моста и по левобережью Оби в день 1 Мая 1920 года мы, солдаты, посадили много сотен или даже тысяч кустов и саженцев. Политрук эскадрона Кауков объяснял и подбадривал:

— Теперь ежегодно праздник 1 Мая будет увеличиваться на один день. В этом году два дня. Три — в следующем и так далее.

С ним не спорили. Политрук — ему виднее. Ворчали только те, которым в ночь на 1 Мая пришлось быть в наряде.

— И всегда будем сажать такие кусты?

— Беспременно, всегда. Жизнь должна быть красивой, а разве она будет красивой без зелени? Вот и будем сажать.

— Разве я против? Но спать людям тоже надо. Один день,

конечно, терпеть можно, но когда только одни праздники останутся и тебя ежедневно после караула будут гонять на посадку этих проклятых кустарников…

Кауков умолк. Возможно, и он не совсем четко уяснил порядок смены караулов при коммунизме?

Размечтался я, вспоминая эту прежнюю нашу службу в Омске, и не заметил, как ко мне подошли: «Документы». Поворачиваюсь: двое солдат с винтовками и командир. Однако документов в руки не берут и близко не подходят. Только командуют: «Иди». А сами следом. Недалеко увели, на ближайший медпункт. Там уж совсем просто:

— Поясной ремень сними и рубаху подними.

Не сопротивляюсь. Знаю — укол от холеры.

Из медпункта двинулся на окраину города. Может быть, там эти нуждающиеся в рабочей силе колонисты встретятся? Нет, не попались. Зато опять налетел на патруль, и тут же, конечно, укол. Школьное здание, в котором размещался этот медпункт, показалось мне знакомым. Вспомнил: я сюда приходил в полк Кальюнена.

Кальюнена я знал еще до революции. И в Дубровку он приезжал. Очень трогательно читал стихи. Но в 1920 году он стал другим, очень представительным и важным. «Сапоги мои, — говорил, — генеральские. Сам с генеральских ног снял. А перстень этот, — толстое золотое кольцо с малопонятным рисунком на большом пальце левой руки, — моя личная печать». Кальюнен намеревался сформировать кавалерийский полк из одних только финнов. Людей в его «полку» было мало, — сотня, наверное, мужчин и женщин, — но они продолжали прибывать.

Но разобраться в этом я не успел. Внезапно меня и еще десяток таких же занарядили сопровождать и охранять какую-то комиссию, изучающую запасы зерна, состояние складов, портовых сооружений и барж до верховьев Иртыша. Ездили мы довольно долго, больше месяца, наверное, и потом меня тем же путем вернули в тифозный барак на Атаманском Хуторе. Пока я бился в объятиях еще одного вида тифа, пока окреп и начал свободно ходить, из Омска исчезли и венгры и финны, в том числе и Кальюнен. Полка ему сформировать не удалось и, как потом выяснилось, — не имел он и полномочий для формирования полка. Венгры на Польский фронт поехали, а финнов раскидали по всей Сибири. Меня же, бесхозного, направили на пересыльный пункт.

Финны потом вернулись в Омск группами. Часть их, преследовавшая белых казаков из остатков войск Анненкова, через Славгород проникла до станицы не то Николаевская, не то

Александровская и там была атакована белыми казаками, имевшими десятикратное превосходство в силах. Казаки легко помяли неустойчивую «местную роту» и с ходу захватили коней интернациональной группы. Но люди спаслись, организованно и энергично отбиваясь от наседающих казаков залповым огнем, от рубежа к рубежу, отошли к Славгороду. На выручку этой группы выступила кавалерийская бригада имени Степки Разина, опрокинула белых казаков и основательно их потрепала.

Группа, конвоировавшая пленных офицеров Колчака в Среднюю Азию, до места назначения их не довела. С наступлением белополяков к русскому офицерству обратился генерал Брусилов, и большая часть пленных немедленно изъявила желание с оружием в руках выступить против внешнего врага. Таких тут же вернули в строй, а небольшие остатки «непримиримых» были сданы тюремной администрации в Оренбурге.

Наиболее важную задачу выполнила группа в 100—150 человек, разведавшая Иртыш до Оби, часть Оби пониже устья Иртыша и в обратном направлении по Оби и мелким рекам до Томска — нет ли на берегах этих рек белых банд? Такое было специальное задание Особоуполномоченного Совнаркома по Сибири Шотмана, основанное на решении В. И. Ленина организовать перевозку зерна из Сибири речным путем в северные порты страны. Впрочем, об этом я узнал через многие десятки лет, в частности из материалов журнала «Север».

Гражданская война и интервенция довели страну до последней грани экономической разрухи, и борьба партии в эти годы за спасение людей от голодной смерти, в моем понимании, является одной из самых красивых и волнующих страниц в истории рабочего движения. Особоуполномоченный Шотман организовывал перевозку зерна к портам на Карском море, а рабочие и моряки Беломорья из обломков кораблей создали мореходный флот для перевозки его в Архангельск. Уголь для этой флотилии поднимали со дна моря, с кораблей, потопленных германскими подводными лодками в первую мировую войну.

На Иртыше и Оби, как и у берегов других рек в районе Томска, белых банд не оказалось. А. В. Шотман был крайне обрадован. В знак признательности он распорядился выдать всем участникам этой экспедиции новое обмундирование и даже новые сапоги. Немаловажное поощрение в те годы! Когда эти подарки особоуполномоченного вручались награжденным, среди них оказался и я, только что выписавшийся из госпиталя. И тоже получил сапоги и обмундирование, хотя в походе не участвовал.

Участники этой экспедиции рассказывали, что по долине

Иртыша или Оби — точно уже не помню — им попадались селения, в которых все жители говорили на каком-то удивительном наречии — с большой примесью чисто финских слов…

…Все это я вспомнил, разгуливая по городу, с которым в прошлом меня связывало многое. Впрочем, ходить и размышлять надо было с осторожностью. Если попадешь к патрулям — не миновать очередного укола. Русский язык я знал слабо, но объяснить, что уже сегодня кололи, мог. Однако обычно, прежде чем я успевал что-либо произнести, дело уже было сделано. Оно и понятно: врачи торопились и фельдшера спешили. Где уж тут дожидаться окончания объяснений медлительного финна. Не в пользу, может быть, мне пошла бы эта поездка за здоровьем, но бывает и везение!

Однажды я стоял у входа в старый казачий ипподром и смотрел, как артисты поставленного тут же цирка-балагана живого человека в землю закапывали. В гробу, под похоронный марш и на целый час. Вдруг кто-то хлопнул меня по плечу. Оборачиваюсь — старый знакомый по Сибири, Август Андерсон.

— Что глядишь, Топи? Если тут очередь занял, то ошибся ты. Покойников вон где принимают. Вон, посмотри, за городом, откуда дым. Видишь?

— Да не за тем я, Аку. Успею еще…

— По виду тебе бы в самый раз. Давно не ел?

— Не так чтобы…

— Понял. Пойдем — накормлю. А ты откуда взялся?

— Я сюда из Питера на поправку приехал. А тут остановился. Любопытно потому. Живого человека в землю…

— Узнаю земляка! Никто другой не поехал бы на поправку в холерный город, кроме истинного финна. Нету таких ослов во всем свете! А номер тот совсем не интересный. Печальный больше. Разве ты не видел, как люди плакали и молились? Горе у многих свое, горькое…

Мы пошли к Андерсону. Я шел чеканной курсантской поступью по 71 сантиметру, которую так основательно заучивали. Но Аку шел более широким шагом и мне приходилось то и дело менять ногу.

— Почему ты ходишь, как лошадь?

— Как так?

— Подпрыгиваешь зачем?

— Я ногу меняю, чтоб в ногу…

— На черта тебе и тут в ногу шагать! И вообще твой ход на испанский шаг для обученных лошадей в цирке… а ты ж не конь. Иди, как люди идут. Бегать перестал?

— Уж редко когда…

— Жаль. Зачатки у тебя хорошие были.

Андерсон всегда был замечательным товарищем. По старшинству, правда, насмешлив и любил остроумные и не всегда безобидные шутки. Щедрый и все, что зарабатывал, расходовал на нас, менее приспособленных к жизни. Оказалось, сейчас он работал в Омске инструктором Всевобуча. В холостяцкой квартире у него было чисто, опрятно и много еды.

— Ешь, знай. Вечером еще принесу. Если живность завелась, то там, в коридоре, под столом утюг и уголь в ведре. Техники не забыл?

— Как можно! Помню.

— На улицу не выходи! По нечаянности под брезент угодишь и тогда на погост. Ты самогонку пьешь?

Слово это я еще не знал, но догадался, что меня спрашивают о чем-то подобающем зрелым мужчинам, и поспешил с ответом:

— Очень люблю, Аку. Очень!

Андерсон вернулся к вечеру. Принес очередную порцию еды и поставил на стол бутылку с мутной, дурно пахнущей жидкостью:

— На, лакай! Я в питье удовольствия не нахожу, а такой гадости и терпеть не могу. Но раз охота — пей!

Пришлось признаться, что с таким зельем не знаком и не могу терпеть его дурного запаха.

— Так бы и сказал. Ладно, хозяйке отдам. Молодая она и красивая, а уже одинокая. Всякую гадость лакает и потом плачет. Тоже свое горе, наверное.

Так я жил у Андерсона до снятия карантина. На его харчах.

Обратный билет мне, как курсанту, в товарный вагон выписали. В те годы нас так и возили. Андерсон ухмылялся:

— Знает комендант, как телят возят…

Тем не менее перед отходом поезда он пошел к коменданту и принес мне пропуск в классный вагон, или «штабной», как такие вагоны в те годы именовали.

— А курить у тебя есть?

— Нету, Аку. Да не беда, выдержу.

— Великомученик отыскался. На, копти.

Аку был Аку. Он успел не только достать пропуск, но и обменял свою нижнюю рубаху на самосад для меня.

Мы встречались еще не раз, до 1925 года. Август Андерсон, выходец из финского рабочего спортивного союза, скончался в 1970 году в Киеве заслуженным мастером спорта и заслуженным тренером СССР.

В Петроград я вернулся поокрепшим. «Вот что значит старый товарищ», — говорили мои друзья-курсанты. И добавляли

шутливо: «А может, все дело в уколах? А, Топи?»

Да, трудности были немалые, но они преодолевались энергией и молодостью. Иногда и очень тяжело приходилось, но не хныкали, не считали себя великомучениками. И аскетами тоже не были. Нормальный молодежный коллектив своего времени. И учились, и спорт любили, и самодеятельностью увлекались.

На стрелковых соревнованиях гарнизона курсанты выступали всегда успешно. Правда, незамысловатыми были эти соревнования. Взводу надо было поразить все цели, выставленные по числу стрелков на дистанции сто метров. Все цели — это главное Количество попаданий в каждую мишень тоже учитывалось. Но этот показатель считался дополнительным. Мы, бывало, лукавили на этом. Отличных стрелков равномерно расставляли среди остальных и давали им задание — по выстрелу в мишень соседа! Так уверенно и поражали все мишени. Это распределение стрелков в цепи, разумеется, было не нашим изобретением.

Был у нас и свой спортивный союз. Официально он назывался «Пуна тяхти» («Красная звезда»). По тяжелой атлетике и лыжам школа не имела конкурентов не только в гарнизоне, но во всей огромной Северо-Западной области. По остальным видам спорта мы были в середняках. Лучшими спортсменами школы считались О. Кумпу, Я. Кокко, Э. Кярня, Э. Тойкка. Тойкка же был и лучшим танцором. Артиллерист, а у них — шпоры! Хорошо ноги от пола отрывал и Пуллинен. Но этот — пехота, без шпор. Уже не тот класс!

Изредка учебные занятия в школе прерывались ради нужд израненного, бьющегося изо всех сил огромного города. А нужд было бесконечно много. Возможностей же почти никаких. Хлеб пока оставался только мечтой. Проблемой дня считалось топливо хлебопекарням, столовым, детским учреждениям. Для отопления квартир, общежитий, казарм кое-где разбирали старые деревянные дома, использовали ветхую мебель, а то и книги. «Буржуйкам» топлива много и не надо. И, оказывается, не обязательно их топить ежедневно…

Дрова в город доставляли в решетчатых барках. Обычно осенью, под ледостав. В барках, как говорили, экономно и удобнее: в пути потерь нет и через шлюзы проводить легче. Сама барка — тоже топливо.

Но доставка дров — дело трудоемкое, в особенности выгрузка. Поленья, пролежавшие в барке все лето, тяжелые и скользкие. Попадались и очень толстые. Черт такое поднимет и удержит в руках! А если и поднимешь, так еще бежать с ним надо ходкой рысью по мокрым доскам на берег и там укладывать

ровными рядами. Упаришься! Нашему взводу повезло: Кумпу у нас был добряк и силач! Довольно бессовестно мы его эксплуатировали. Бывало, сделаешь вид, что не можешь поднять полена, а Кумпу тут как тут: «А ну, положь! Выбери себе под силу, а уж эти я подберу». Так потом и пошло. Все тяжелые поленья таскал один Кумпу.

Много было этих барок с дровами. Выгружали их на Васильевском, на Французской набережной, против памятника Петру Первому. Уставали изрядно и всегда мокли. Но и радость была: мы не только потребители, но и добытчики.

По окончании выгрузки городские власти обычно выдавали каждому курсанту по кусочку хлеба с повидлом. Небольшой кусочек, но приятно было сознавать, что твой труд отметили.

В каком-то году — двадцатом или годом позже — барок с лесом поступало мало. С таким запасом городу никак не перезимовать! Объявили, что горожанам следует самим заготовлять дрова в лесу.

На заготовку дров вышла и наша школа. Не особенно далеко, в сторону Лемболова, кажется. Выехавшим на эту работу курсантам выдали паек полностью — по 400 граммов хлеба на день, сахар, чай, табак. Норму растительного масла даже увеличили. В районе лесосеки всех определили «на постой» по окружающим поселкам, и дело пошло. Курсантов разбили по три человека в бригаде. Дали одну пилу, топор и большую саперную лопату. Лопата для того, чтобы снимать кору с бревен нужного диаметра и длины. Здоровые бревна на дрова распиливать запрещалось.

Люди подобрались разные. Одним под тридцать лет и больше; эти имели опыт лесоруба и, конечно, оказались в одних тройках-бригадах. Свои бригады создавали и другие, более сильные курсанты. В отдельных бригадах оказались и мы, едва ли видевшие поперечную пилу и не имевшие даже малейшего представления о том, в какую сторону следует валить дерево, которое с таким усердием подпиливаем. Пилим и оглядываемся — как бы не придавило. Вернее, пилили двое, а один за деревом наблюдал и в нужную минуту подавал команду:

— Падает! Бежим, ребята!

Мы бросали пилу и — ходу, кто куда. Бывало, совсем рядом падало дерево. Но ничего, обходилось.

Пила у нас была тупая, а силенок немного. Потому и деревья нечасто падали. Стало быть, и опасность грозила лишь изредка. План мы не выполняли, но в одном были на высоте — в уборке лесорубочных отходов. Простое дело!

Таких бригад, как наша, насчитывалось много, и

руководители приняли меры. Выделили правщика пил и еще одного инструктора-лесоруба.

— Дерево надо подрубать с одного боку, а с другого — пилить. Оно и упадет…

— А бежать в какую сторону?

— Бежать? Какого вам черта еще и бегать надо?

Освоили постепенно и заготовку дров, к работе привыкли. Задание выполнялось уже всеми бригадами. За счет выработки лучших школа шла с большим опережением плана. Но возникали новые трудности. Неимоверно росло количество лесорубочных отходов. Возиться с ними — мало радости!

Работали в лесу больше месяца. Фамилии лучших лесорубов вскоре появились на Доске почета. Своей я там не искал…

КРОНШТАДТСКИЙ МЯТЕЖ

Тяжело и тревожно начался 1921 год — первый год перехода от войны к миру, во многом еще иллюзорному. Главные фронты исчезли, другие еще дымились, и с огромной силой обрушилось тяжелое наследие военных лет. Давил голод, продовольственный и топливный. Давила усталость от неимоверных усилий.

Петроград бурлил. Одни искали выхода из тупика и верили в этот выход, почти в чудо. Другие, — а таких было немало в бывшей столице огромной империи, — организовывали внутренние затруднения и надеялись на международные осложнения.

Трудно было всем трудящимся. Трудно было и нам, курсантам.

Мы отдали городу все, чем располагали — часть скудного хлебного пайка, все «приварочное довольствие», выгружали дрова из барок для больниц и детских учреждений и понимали — все это мало, ничтожно мало. Но большего мы не имели и большего не умели.

К февралю положение в городе еще больше обострилось. Контрреволюция готовила удар. Но ни его направленности, ни силы, мы, курсанты, не знали.

На Большом проспекте Васильевского острова, вблизи табачной фабрики «Лаферм» и у Балтийского судостроительного завода агентам врага не раз удавалось собрать значительные толпы людей, большей частью горластых петроградских спекулянтов. Один за другим выступали эсеры и анархисты: «Склады завалены продовольствием и всяким добром. Комиссары для себя спасли. Брать это добро надо силой, ведь мы, трудящиеся, хозяева страны»…

Встречались в этой массе и люди в одежде моряка, с широчайшими почти до метра штанинами. Но это были не те балтийцы, которые беззаветным служением революции покрыли себя неувядаемой славой. Те пали в боях за власть Советов, были мобилизованы в органы власти, партийные организации, РККА, ВЧК, милицию. Взамен их на корабли и форты пришли случайные люди, часто спасавшиеся от мобилизации в РККА номинальной службой на флоте. Проникали туда и агенты врага, в особенности эсеры, разного рода обломки «антоновщины». С гордостью, добрым чувством в адрес петроградских трудящихся, могу заявить: ни разу агентам врага не удавалось спровоцировать столкновений между органами власти и трудящимися города!

Меры принимали и органы власти и войсковое командование. Ледокол «Ермак» по нескольку раз в сутки разламывал лед на Неве, мосты разводились на всю ночь и улицы города опутывались паутиной полевых телефонных линий.

Курсанты многочисленными колоннами, с оркестром и боевым снаряжением маршировали по улицам огромного города, чтобы духовно поддержать тех, которые нуждались в нашей поддержке и искали ее, и предупредить врагов: «Не балуй!» Близко к стенам домов в «буржуазных кварталах» — Невский проспект, Каменноостровский, Миллионная, Французская набережная и другие, — не подходили. Там, из верхних этажей, на наши головы нередко бросали кирпичи, утюги, ночные горшки…

Ночи в большей части проводили в здании Советов, партийных органов, банков и узлов связи, чтобы обеспечить их сохранность.

Много было дано нашей школе, и она ответила должным пониманием обстановки. Много в эти дни делал Густав Ровио, чтобы курсанты правильно понимали события. Много поработало партийное бюро школы, Тойво Антикайнен. Хватало забот и нам, ротным партийным организаторам, да и всем курсантам…

Да, наша школа не знала колебаний. Не знала она и равнодушных. Не раз возникал тревожный и тягостный вопрос: «Неужели врагам удастся спровоцировать столкновения между нами и этими массами людей, в среде которой были и обманутые, голодные и выбитые из колеи трудностями великого перелома?»

Возникали тихие и грустные беседы:

— На Большом опять много народу. Митингуют…

— Известно — спекулянты.

— И они тоже. Но не только… много очень женщин… голодные они и уставшие…

Хотя бы на фронт, какой ни есть захудалый!

Однажды ночью, в темноте — света в городе не было — подняли нас, десяток курсантов-коммунистов и вывели в коридор. Там уже стояло столько же курсантов от второй роты и, как и мы, с винтовками, патронами, гранатами, лопатами. Словом, в полной боевой. Одного из них назначили старшим. Меня — заместителем. Приказ краткий и для исполнения ясный: «Бегом в восьмую пехотную».

Бежим по темному городу. Путь немалый — на Петроградскую. Там нас уже ждали, и новый приказ — тоже ясный: «Бегом в артиллерийскую». Знаем: возле Финляндского. Тоже порядочное расстояние. Там нас ждал уже вовсе короткий приказ: «В теплушку, бегом!»

Заходим. Нары есть, света нет, печки нет. На полу — снег. Какой только идиот назвал этот холодильник теплушкой!

Тут же заскрипела задвижка. Видно, замок навесили. Перевозка войск под замком в те годы была не в диковинку. Никто не обижался. Ребята шутили:

— Замок, чтобы нас бабы не выкрали. Лютые стали. Им наплевать, что мы казенное имущество…

Поезд пошел сразу, но вскоре остановился в лесу, на перегоне. В теплушку вошел незнакомый военный с фонарем. По звездочке видно — политрук. Молодой еще и не очень-то языкастый.

— Насчет замка я, чтобы не обижались… Не от вас навешали. От несознательных элементов…

Улыбаются наши: «Валяй, валяй!»

Издали начал. Не миновал Ллойд Джорджа, коснулся Пилсудского и стал говорить о голоде. Видно, надолго это. Невежливо оборвали:

— Куда нас везете и для чего?

— Скажу в конце моей речи…

— Тогда, товарищ политрук, начинайте с конца!

— Можно и с конца. Речь потом доскажу. Один небольшой фортик забуянил. Не слушается. Надо его напугать нашими пушками…

— А флот как? Как крепость?

— Что флот? Что крепость? Там — порядок! Я ж вам толкую: фортик один. Самый ерундовый, малюсенький. Видимость одна…

— Почему же флот этот фортик не пугнул? Там и пушки не в пример нашим, и под боком!

— Я вам сказал, как у меня записано. А вы думайте, как хотите.

Ушел. Речь держать не стал и замка не навесил.

Думали мы, думали и решили: восстал флот и восстала крепость.

Учел господь бог наши пожелания. Уважил, нечего сказать! Но кто ж у него такого фронта просил?

Хлесткой руганью и едкой шуткой солдат глушит боль и горе. А мы были солдатами…

Выгрузились в лесу, на перегоне. Орудия, передки и зарядные ящики выкатили на руках. Кони сами смело выпрыгивали в снег — колея была узкой, вагончики низенькие.

Выступили колонной по узкому зимнику. Старые дивизионные пушки, по две тонны и более весом, глубоко утопали в снегу, по-февральски тяжелом и плотном. Вначале шли бодро. Ездовые горделиво сидели на конях. Остальные пушкари тоже недурно устроились: уселись на передках, висели на орудиях Мы, прикомандированные к ним, уныло плелись в хвосте колонны и откровенно завидовали: хорошая служба в артиллерии! Красивая и легкая… Не то, что наша…

Потом кони выбились из сил и остановились… Стоят себе, как спортивные «кони» в школе, и наплевать им на все наши планы и сроки. Дальше коней за поводья тянули ездовые. Орудийные расчеты и мы, прикомандированные, на себе тянули пушки, дышлом подталкивая коней. Ну и служба же в артиллерии! То ли дело в пехоте!

Устали мы, шли из последних сил. И тут потрясающее открытие: не туда идем! Глубоко уже зашли на Лисий Нос, а надо совсем в другую сторону — на станцию Разлив.

Остановились, ругаемся. Неуважительно поминаем всевышнего. Ничего, конечно, не случилось. К утру пушки были на месте. Точно, как из пушки!

В 18.00 истек срок предъявленного мятежникам ультиматума, и в эту минуту наша батарея — «направляющая» в Сестрорецком направлении — дала первый залп.

Артиллерийская дуэль началась.

Мы били осколочными снарядами по номерным фортам, от седьмого по четвертый. Враг не отвечал. Ему наши осколочные — укус комара. Потом мы заменили снаряды и уважение к нашей батарее возросло. По нас били уже корабли и форт «Тотлебен».

Огневые налеты следовали один за другим. Снаряды ложились густо, из многих десятков орудий. Тяжелые, 10—12 дюймовые только нервировали. Наши огневые позиции были в лощине, недоступной дальнобойным пушкам фортов и кораблей, с отлогой траекторией полета снарядов. Только наше «хозяйство», прикомандированных, — «батарейный резерв» — находился в

сфере огня противника. Непосредственно к пушкам мы отношения не имели, лишь бегали от батарейного резерва на огневую позицию со снарядами — и все. Простая работа, но не из легких, особенно под артиллерийским обстрелом. Еще мы должны были держать «вспомогательную точку наводки» — керосиновую лампу на подоконнике полуразрушенной дачи, за орудиями, в сфере огня противника. Тоже просто, но и мудрено. Следи, чтобы лампа не погасла и не смещалась. Однажды у меня она вовсе вылетела из рук и неизвестно куда подевалась. Тут же, конечно, прибежали пушкари. Но не ругались и претензий ко мне не предъявляли. Наверное, потому, что я выглядел тяжело раненным: все лицо мое было в крови. В действительности же я отделался испугом и небольшими царапинами. Взрывная волна вышибла оконную раму, за которой я сидел, и лицо поцарапало стеклом. Лампы так и не нашли.

В тяжелые минуты в защиту своей «направляющей» выступала вся артиллерия Сестрорецкого направления, включая гаубицы особой мощности. Били по номерным фортам. Корабли же должны были обстреливать артиллеристы Южной группы войск. «Тотлебен» оставался безнаказанным — далеко.

Враг, кроме других орудий, имел 42-линейные дальнобойные пушки, больше всего на «Тотлебене». Были еще прожекторы с ослепляющим светом. Прожектор и пушка действовали — комплексно, как бы спаренные. За остановившимся лучом прожектора следовали снаряды. Мгновенно и точно.

В ходе боя все труднее становилось подносить снаряды на огневую позицию. Да и брать их было неоткуда. Огонь противника не давал возможности подвезти снаряды в район батарейного резерва, и приходилось подносить их на руках от самой узкоколейки, за полкилометра. Отре́зал огонь противника и нашу походную кухню…

Тяжелой неудачей, — как нам тогда показалось, — закончилась изумительная по красоте и смелости атака курсантов, преимущественно 8 й пехотной школы, ближайших от берега фортов в ночь и утро 8 марта. В полный рост и ровными цепями пошли курсанты в атаку. Мы следили за ними с глубоким волнением и страстно желали нм успеха. Помочь огнем больше не могли: слишком мало было расстояние между атакующими курсантами и огневыми точками мятежников. Атака выдохлась. Не могли курсанты преодолеть кинжального огня множества пулеметов и пушек врага.

Говорили потом, что это была только разведка боем. Для солдата, впрочем, разведка боем — всегда бой! Долго еще, до 17 марта, на льду чернели трупы наших друзей, вызывая у нас

чувство угнетающей горечи и жажду мести.

Походная кухня к нам прорваться не могла, а вот сани с подарками петроградских рабочих проскочили. Нам привезли карандаши, бумагу, конверты, иголки, нитки — все, что мог дать фронтовикам великий, измученный город. В конвертах записки с пожеланиями боевого успеха, многообещающее:

«Приходи победителем. Найдешь меня на Лаферме. Маша я. Обогрею и приласкаю».

Милая и дорогая! Не ты ли в смутные дни вместе с другими дубасила нас кулачками на Большом проспекте и у ворот Судостроительного? Ты забыла это? Хорошо, если забыла. И я не помню. Но твоей записки не забуду. В ней ты вся, моя современница, боевая и озорная, добрая и ласковая.

Свет вражеских прожекторов ослабевал, а потом и вовсе погас. Говорили, что кончилось топливо. Но снаряды враг имел и настойчиво обстреливал наши позиции. Днем — в особенности. Ночью — стрельба по площадям, но это — семечки! Теперь у нас доставка снарядов и поднос их к орудиям проходили без особых помех. Появилась и долгожданная полевая кухня. Новая. Кони другие, новый ездовой и повар новый. О судьбе старой не спрашивали. Сами понимали, и не принято это…

Наступило 17 марта. Атаку мятежных фортов курсантами мы поддерживали огнем в темпе стрельбы первого часа боя. Это требовало от орудийного расчета большой ловкости и предельной быстроты, обычно проявляемой разве только хорошими вратарями хоккейной команды. За неполные три секунды надо успеть вернуть орудие после отката, перезарядить, навести на цель и дать выстрел. Нужна еще исключительная выносливость. Люди падали от усталости, ловя воздух открытыми ртами, а стрельба все продолжалась тем же бешеным темпом.

Доставалось и нам, прикомандированным. В каждую минуту надо было подать к орудиям 130—140 снарядов, и это задача не из легких!

Враг упорно отстреливался. В его огневых налетах участвовала вся могущественная артиллерия кораблей и фортов. После того, как курсанты овладели седьмым, шестым и, в особенности, четвертым фортом и частью сил выступили в направлении острова Котлин, по мере продвижения к крепости и мятежным кораблям Южной группы войск, — огонь врага стал ослабевать. Сопротивление его было сломлено. Раздавались только отдельные залпы из дальнобойных орудий. Последним залпом был убит один из наших ребят, один из красных

финнов — Хилтунен.

Нашу школу, одну из лучших частей в гарнизоне, держали в городе до последней возможности. Пешим порядком она выступила только в ночь на 17 марта и, наступая во втором эшелоне, созданном для развития успеха, — в ночь на 18 марта вошла в форт «Тотлебен». Небольшая группа курсантов на лыжах несла патрульную службу между «Тотлебеном» и финским берегом. Командовал ими Тойво Антикайнен. Предупредить прорыв и бегство в Финляндию многотысячной массы мятежников эта группа, численностью менее десяти человек, конечно, не могла и не такая была ее задача…

Через несколько дней нам, победителям, пел Ф. И. Шаляпин. В тот вечер песни Шаляпина меня не тронули. Слишком мало я понимал в искусстве, и, наверное, требовалось некоторое время для перестройки, чтобы после звуков артиллерийской канонады воспринимать высокохудожественные музыкальные произведения.

ЛЫЖНЫЙ РЕЙД НА КИМАСОЗЕРО

Осенью 1921 года белофинские захватчики еще раз вторглись в Советскую Карелию и, используя почти полное отсутствие на севере советских войск, вместе с карельскими кулаками, лавочниками, барышниками и пройдохами всех мастей, в свое время сбежавшими в Финляндию и там обученными приемам истребления людей, — сравнительно быстро захватили северную и часть волостей в средней Карелии. В южную Карелию захватчики не вторгались. Там рядом Петроград, советские войска — страшно.

Вторглись белофинны под флагом освободителей и, действительно, по мере сил «освобождали» карельские деревушки от жалких остатков скота, случайно сохранившегося, от беличьих шкур и редких золотых пятерок, укрытых старухами в их тайниках. «Освобождали» немало карел от самой жизни. Словом, бандиты наносили тяжелые раны и так многострадальной Карелии.

Термин «белофинское вторжение» правильно выражает сущность этой очередной авантюры, но едва ли исчерпывает ее полностью. Конечно, вторглись белые финны, осуществляя захватнические устремления не знающей меры финской буржуазии. Но за ее спиной стояли более могущественные силы, поощряющие, финансирующие и «гарантирующие от возмездия». Словом, еще один оживший обломок умирающей, но пока не мертвой «всеобщей интервенции».

Вторжение началось с проникновения вражеских лыжников к линии Мурманской железной дороги и уничтожения там моста через реку Онду. Бандитский расстрел в это же время ругозерских коммунистов преследовал и другую цель — запугать население края и поставить карел на колени.

К декабрю 1921 года в Карелию прибыли достаточные силы Красной Армии, чтобы ликвидировать вражеское вторжение, но прибывшие войска не имели опыта боевых действий в лесистой местности, почти полностью лишенной дорог, не владели лыжами, не знали специфических особенностей малой войны и продвижение их вперед было крайне медленным.

В этих условиях Карельский Военно-революционный комитет приступил к формированию добровольческих лыжных отрядов из добровольцев финнов и карел для обеспечения флангов наступающих колонн и для действия в качестве передовых отрядов. Такие отряды, как правило, командными кадрами обеспечивала Интернациональная военная школа.

Наибольшую известность заслужил Добровольческий лыжный отряд северной колонны, часто именуемый батальоном Ниемеля. Известно, в частности, что шесть его командиров (из командиров и слушателей Интернациональной военной школы) — Ниемеля Калле[2], командир отряда, Вейсанен Иоган, Викстрем Альберт, Пеллен Альбин, Харвонен Лаури и Хельман Аксель были награждены орденами Красного Знамени. Три добровольца — Кирну Армас, Киннунен Август и Лааксо Аксель — именными часами.

Из Петрограда на Карельский участок фронта люди выезжали в глубокой тайне, но слухи доходили и до нас, рождая бурное желание померяться силами с белыми сейчас, когда мы знали, что превосходим их не только духовно, во и в боевой выучке. Но руководство молчало, и мы нервничали и поругивались:

— На черта нас держат?

— Тебя, милый мой, на племя оставили.

Пятого января, наконец, и мы поехали. Не все, правда, а около двухсот человек. И не на фронт, а как объясняли, для участия в зимних маневрах.

Командование, возможно, в какой-то мере знало о боевой задаче школы. Но разве оно скажет? Впрочем, и оно боевое задание получило только на станции Петрозаводск от командующего карельской группой войск А. И. Седякина. Нам, курсантам, командиры ничего не говорили, и мы вскорости ни в какой информации и не нуждались. Заработал солдатский телеграф, а какая тайна устоит против его силы?

— В каптерку первой роты привезли новые ватные брюки,

телогрейки, валенки, полушубки — почти на всех курсантов…

— Во вторую роту мало дали…

— Пулеметчикам не всем привезли…

— Пушкарям всем…

— По числу обстрелянных выдают. Значит, на фронт…

— Раз новое все, значит — на фронт. Не выдаст интендант курсанту новых вещей в мирных условиях. Умрет, но не выдаст. На парад разве только…

Наблюдения дали вообще-то совершенно верное представление о предстоящем выступлении: в Карелию, и не всей школой. Обстрелянные только и более сильные. Подробности нас не интересовали!

Командование имело свои заботы, но немало дел и у каждого курсанта. В походе много разного добра потребуется: ножик, или хотя бы знать у кого из соседей в строю он есть, ремешки разные, шпагат, не очень малый гвоздик и острый, большая иголка и нитка крепкая, любого цвета. И мало ли еще надо иметь различного подручного материала!

Лыж и палок привозили много, но выбор был ограничен. Или очень толстые и тяжелые лыжи попадались, дубовые, заказанные царским командованием для малочисленных лыжных групп старой армии, или спортивные, длиною более трех метров, узкие, рассчитанные на движение толканием только руками по заранее проложенной прямой лыжне на ровной местности. Плохие были и палки. Бамбуковые, в оглоблю, или тоненькие сосновые с фанерными кругами.

Выбирали и чертыхались:

— Бери! Не на скоростной бег идешь…

— Вот именно, не на бег.

— Заменим после. Заберем у кого…

К вечеру пятого января мы покидали Петроград. Не впервые на фронт выезжали, но обычно провожать нас было некому Былая среда оставалась где-то вдали и для большей части курсантов новые связи еще не сложились. Но на этот раз были и проводы, да еще какие! Перед отходом поезда по вагонам прошел Главнокомандующий вооруженными силами республики С. С. Каменев, бегло ознакомился с нашим вооружением и снаряжением и пожелал нам успеха.

Мы были рады такому вниманию и им гордились:

— Сам, понимаешь, главнокомандующий…

— Не на пустяковое дело посылают, раз сам проверял…

С. С. Каменев выделил нам и свой паровоз до Петрозаводска. Немаловажный показатель значимости нашего отряда.

В Петрозаводске к нашему поезду подошел Э. О. Гюллинг,

председатель Карельской Трудовой Коммуны и глава Революционного комитета, созданного для ликвидации вражеского вторжения и поднятых врагами мятежей. Ребята, знавшие Гюллинга лично или просто более смекалистые, подошли к нему и попросили спирту. Для лыж только, конечно. Гюллинг улыбнулся, — в лыжах он не менее нашего понимал, но спирт выдали. По бутылке на человека. Морока с этим спиртом в пути получилась. Молодые спирт видели впервые и его ценности не понимали. А более зрелые и опытные курсанты, как это ни странно, не умели хранить такое нужное им зелье и то и дело на привалах обращались:

— Может, нальешь малость? При падении пробка отскочила и все вылилось. Так неловко упал…

Конечно, приходилось выручать товарища, потерпевшего столь печальную утрату.

Лыжный рейд Интернациональной военной школы по сути дела начинался со станции Масельгская и первый переход до селения Паданы, примерно 65—70 километров, был особенно тяжелым. Снег был наносный, плотный и скольжение никудышное. Да мы еще тащили станковые пулеметы на волокушах, передавая их от роты роте. Тащить эти волокуши прямо-таки лошадиная работа! В поход мы еще не втянулись, снаряжение разумно подгонять не научились и многие так устали, что в селе Паданы ночью стонали и спали плохо. Я в ту ночь бессонницей не страдал — меня назначили дежурным по гарнизону.

Говорили потом, то первый переход был умышленно осложнен для окончательного выявления слабых лыжников и для их отсева.

В дальнейшем мы продвинулись в селение Лазарево и там, 10 января 1922 года, отряд разделили на две неравные части. Все руководство, медицинская служба, обоз образовали так называемую ругозерскую группу общей численностью 70—80 человек, которая прямого участия в рейде в дальнейшем не принимала.

136 курсантов, слушателей и командиров, вооруженные винтовками со штыком, шестью ручными пулеметами «Матсена» и «Шоша» пошли в рейдирующий отряд под командованием командира пулеметной роты школы Тойво Антикайнена. В дальнейшем, после первых переходов, из этого отряда были возвращены в ругозерскую группу еще несколько слабых лыжников и в дальнейшем численность отряда едва ли превышала 130 человек.

Отряд состоял из двух небольших стрелковых рот и пулеметного взвода под командованием курсанта Анттила, в дальнейшем генерал-майора Советской Армии. В составе взвода пулеметчики обычно не действовали и популеметно были приданы в огневое усиление стрелковых взводов.

Командиром первой стрелковой роты был ее курсовой командир, питерский рабочий-мраморщик, Иоган Хейкконен. Он же был и заместителем командира отряда. Второй ротой командовал Эркки Карьялайнен, командир этой роты в школе. По штатам того времени начальника штаба отряд не имел. Адъютантом командира был Симо Суси, из слушателей повторного курса.

Несколько отборных лыжников — Вуоринен, Кемпас, Кярня и, кажется, Тойкка были назначены связным командира отряда, а Пихканен и Киивяри — переводчиками. Слушатели повторного курса, как правило, становились в строй рядовыми. Обоза отряд не имел, не было ни врача, ни фельдшера. Все медицинские работники, как и хозяйственники, в один голос заявляли, что лыжами не владеют. Но выход был найден. Каждому курсанту выдали по два «индивидуальных перевязочных пакета» и еще сумку с медикаментами на роту. Но таскать ее было некому и мы расправились с ней простейшим образом — медикаменты побросали и в сумке поочередно таскали топор, необходимейший инструмент в зимнем лесу. Вторая рота, как потом рассказывали, свою сумку сохранила.

Нагрузка на курсанта и на командира была предельной: винтовка, 120 патронов к ней и еще 20 для ручных пулеметов, по две гранаты, смена белья, ботинки, котелок и продовольствия на десять суток пути. Подойдет, бывало, курсант к своей ноше и наваливает на плечи в порядке пробы. Тут же и бросает.

— Нет, братцы! Осел нужен.

— Боже! Под такой маленький вьюк еще второй осел?

Острая речь, бичующая проявления слабости, применялась широко и я думаю — поощрялась руководством.

Вспоминается, как курсант Пихканен, старшина нашей роты, идущий в конце колонны, от усталости свалился в лыжню и подошедшим к нему курантам с трудом выдавил несколько слов:

— Идите, не задерживайтесь! Я больше не могу. Конец мне…

Недолго думая, ребята начали зарывать его в снег и укрывать хвоей.

— Хоть от лисиц пока. А там уж похоронят…

— Что вы делаете, ребята, зачем?

— Ты же умираешь, Вильфрид…

— Я умираю? — И, с трудом поднимаясь на ослабевшие ноги,

он, самый культурный курсант в роте, только один играющий Шопена по нотам, — обложил нас увесистым старорежимным матом.

Больше он не отставал и прошел свой путь до конца, близкого, к сожалению.

Лиц, желающих справляться о дальности расстояний, считали слабаками и для них имели в запасе самые ядовитые ответы:

— Но и устал же! Не знаешь — далеко ли еще?

— Знаю. Бывал тут. Лес тот видишь?

И тут же сильными рывками отрывается вперед. Отстающий с трудом догоняет и опять с вопросом:

— Ну скажи, сколько же осталось?

— Я ж тебе говорю — тот лес видишь?

— Ну, вижу. В том лесу, что ли?

— Почему в лесу? Я говорю — лес видишь? Лес тот километров на восемь. Там болото малость поболее будет, потом опять лес такой же, озеро потом и луг за ним. Ну там уже мало и остается. Раза два камнем кинуть и остаток добежать…

После нескольких переходов у всех накопилось немало самых язвительных ответов, лишь бы кто-нибудь спросил о расстоянии. Но желающих больше не было.

В общем, отстающих мы не имели. Они и появляются в колоннах, за которыми следует транспорт. У нас же отставать было некуда.

Значительные трудности встретились во время преодоления Масельгского кряжа. Подъем был крутой, снег глубокий, пушистый и мягкий, а такой снег на крутом скате — штука коварная. Сползает! Ночь выдалась мрачная — темнота, снегопад, вьюга. И все же, на мой взгляд, в описаниях похода, в общем верных, эти трудности преувеличены. Тяжесть подъема на перевал объяснялась усталостью от предыдущих переходов, вызывавшей как хлесткую брань, так и острые шутки.

Масельгский кряж мы бы с ходу взяли, если бы он возник перед нами хотя бы несколькими переходами позже, но такова солдатская судьба: все неприятности непременно возникают в самое неподходящее время. В поход толком еще не втянулись, изрядно устали днем, да и тяжелы были наши вещевые мешки. Позднее, когда их вес стал заметно уменьшаться, а ремни все туже затягиваться, начались разговоры о том, что не так уж тяжелы они и были. Сами ребята, мол, слабаки и недоноски.

Пенингу, небольшой хуторок, наша вторая рота захватила внезапно и почти без боя. Внешнюю охрану сняли, но один часовой успел поднять тревогу. Вспыхнула небольшая перестрелка, в ходе которой несколько белых было убито, в их

числе начальник усиленного полевого караула, лейтенант финской армии. Один из наших курсантов получил небольшое ранение. Захваченных пленных отправили в обратном направлении через Масельгский кряж в тыл, выделив конвой из числа курсантов, слабее других подготовленных для дальнейшего похода.

В Пенинге отряд получил отдых, а потом направился прямо на Реболы. Шли лесами, и этот переход был действительно очень тяжелым. Сказывалось не только расстояние — около 70 километров, но главным образом обилие снега, доходившего до пояса. Но и это не все. Несмотря на сильный мороз, в лыжне появлялась вода, а в морозную погоду это уже бедствие! Пробивать лыжню в глубоком снегу тяжело и головного приходилось менять очень часто; но и в колонне было нелегко: вода выступала и снег комками примерзал к лыжам. И головного охранения далеко не пошлешь — по такому снегу не оторваться ему от колонны!

Шли тяжело. Я уже несколько раз пробивал лыжню. И тут мы внезапно наткнулись на довольно длинный деревянный мост, а через него — санный путь. Это было неожиданностью. Укрывшись в кустах, мы дали знать колонне. Подошел Антикайнен с несколькими командирами. Стало ясно, что мы уклонились от нашего направления, но куда? Карты не было. Вернее, были какие-то карты плоской съемки, без горизонталей, но что от таких карт в лесу? Один из курсантов раньше воевал в этих местах и он узнал мост. Оказалось, что мы попали на дорогу в селение Чолка. До Ребол было далеко, люди устали и Антикайнен приказал следовать в Чолку и оттуда, после небольшого отдыха, ночью напасть на Реболы.

К Реболам мы подошли ночью, с предельными предосторожностями. На протяжении нескольких километров не пользовались лыжными палками из-за их специфического поскрипывания. В село ворвались с разных сторон, осмотрели все дома и пристройки, но белых там не нашли. «Карельское правительство» проявило завидную подвижность: напуганное продвижением южной колонны наших войск, оно укатило в Финляндию.

После отдыха мы направились на Кимасозеро. От Ребол до Кимасозера расстояние порядочное. Переходов на этом участке было несколько.

Как уже говорилось, важнейшим условием успешных боевых действий наше командование считало внезапность нападения. Поэтому план операции держался в секрете.

Головные дозоры маршрут знали только на один переход. До

смены.

Чтобы противник не обнаружил отряд раньше времени, разведка на большие расстояния вперед не высылалась. В сторону же она выходила далеко. Проводник из пленных, если такой был, двигался не в головном дозоре, а за ним, метрах в 100—200 под охраной особо выделенного курсанта, имевшего строгий приказ: при малейшей попытке проводника предупредить врага, покончить с ним без шума и мгновенно. Впрочем, такие меры не понадобились. Все пленные добросовестно выполняли обязанности проводников и охотно рассказывали все, что знали о расположении, численности и планах врага.

Особой заботой в отряде был перехват разведывательных групп, связных и дозоров врага, его сторожевых застав и полевых караулов. Эти меры осуществлялись всегда точно и быстро, с четкостью исправного автомата. Любопытны признания врага по этому поводу. Илмаринен, именовавший себя «начальником лесных партизан», писал, что его разведывательные партии были захвачены лыжной ротой красных финнов, следовавшей им навстречу. Поэтому в Кимасозере белые не располагали никакими данными о нависшей над ними опасности. Признание, достойное внимания! Он мог бы еще добавить: бесследно для белых «исчезли» две сторожевые заставы и большое число связных и дозорных.

И это в тылу врага, имевшего подавляющее превосходство в лыжниках!

Приведу один пример, показывающий, как такие перехваты осуществлялись.

Из селения Конецостров Антикайнен с одной только нашей ротой совершил разведывательную вылазку в сторону от основного направления — в поселок Роуккула, Там рота захватила разведгруппу врага, и выяснилось следующее: о захвате нами Конецострова враг не знает. О нашем подходе к Кимасозеру — также. Километрах в двадцати южнее Кимасозера по нашему маршруту на берегу небольшого озерка находится сторожевая застава белых. В лесу, на небольшом удалении от Кимасозера, — финский лыжный батальон в составе нескольких сот человек. Точнее место расположения батальона и его назначения никто не знал.

Началась наша бешеная гонка на Кимасозеро. Нужно было использовать внезапность, достигнутую такими усилиями. Сторожевую заставу противника, которая, мы знали, встретится на нашем пути, было решено снять полностью и, как всегда, без шума! Ночью мы захватили двух связных врага, следовавших в гарнизон Конецострова. Пленные подтвердили: о захвате нами

Конецострова враг не знает. У белых есть сторожевая застава на берегу озера, в ней около тридцати человек. Они считают, что до красных далеко! Охраняется сторожевая застава в ночное время патрулями. Днем — только часовой и подчасок. Солдаты сидят в бараке, обычно дуются в карты. Лыжный батальон белофиннов километрах в пятидесяти восточнее Кимасозера.

Дальше головной дозор вел я. В его составе были курсанты Пуллинен, Пихялисто и еще один из пулеметной роты. За нами шел под охраной захваченный вражеский связной. Второй из пленных следовал в голове колонны. Мы имели точный и четкий приказ: встречающихся связных врага перехватывать без выстрела. По достижении озера установить наблюдение за сторожевой заставой. Себя не обнаруживать!

Стояла лунная ночь. Мороз был умеренный и скольжение такое, что, кажется, лыжи сами хода просят. Полная тишина нарушалась только легким шуршанием лыж и ровным, в такт, поскрипыванием лыжных палок.

Мы увлеклись скоростью и не сразу заметили, что цепочка связи с колонной оборвалась Тут же и пленный предупредил, что до озера не больше километра. Остановились и замаскировались в кустах. Пошарили в мешочках — ничего съедобного! По-видимому, еще на большом привале все прикончили. Покурить бы, но понимали — нельзя. Табачный запах быстро распространяется в зимнем лесу.

Внезапно со стороны озера показался лыжник. Шел он прямо на нас по еле заметному следу связных, захваченных нами ночью. По одежде — серому полупальто с белой повязкой на рукаве, серым брюкам и белой папахе — поняли: финн. Карел так добротно не одевали. Решили подпустить его вплотную, но тут же заметили еще с десяток лыжников, лениво плетущихся один за другим. Положение обострилось. Любой выстрел поднимет сторожевую заставу, а она, в свою очередь, гарнизон на Кимасе. А тогда утеряно главное наше преимущество — внезапность. И кто знает, как потом может сложиться судьба отряда? Многочисленный белофинский лыжный батальон в ближайшем лесу — не мелочь. Решение принимаем быстро:

— Ребята! Вы куда? — Не окриком, конечно, «по-дружески».

— Мы… Мы на разведку в Конецостров. Сведений оттуда нет…

— Хорошо, что встретились. Как раз попались бы. Красных там видимо-невидимо…

— Вы кто такие? — спрашивают финские солдаты.

— Мы? Бежим из Конецострова. Колонна за нами. Мы — охранение. Садитесь. Пока и курить можно. При капитане не

курите. Злой очень. Запрещает в лесу курить.

Поверили. Выручили знание языка, белые халаты и одинаковое вооружение. Может быть, еще и выдержка.

Подошел отряд и обезоруживание противника не вызвало осложнений. Пленные подтвердили: впереди сторожевая застава врага — человек тридцать. Часовой один у входа в барак. Со стороны Кимасозера зимник. По нему связь с начальством.

Вперед вышла другая, более сильная группа курсантов. Она обошла озеро лесом и в тылу сторожевой заставы противника вышла на зимник. По нему, в колонне, на сторожевую заставу. Одного курсанта оставили с часовым и вошли в барак. Белых оттуда выставили. Без оружия, конечно, и на штанах и кальсонах срезали все пуговицы и крючки. Так и на конвой напасть, не смогут и лишней резвости не покажут. Справедливости ради надо признать — это было не наше изобретение. Так рекомендовали поступать еще уставы старой русской армии.

Итак, путь на Кимасозеро открыт!

Тот же Илмаринен писал потом, что красные имели точные данные о положении дел в Кимасозере, раз осмелились так дерзко напасть.

Не возражаю. И имели и осмелились!

Кимасозеро решено было атаковать, используя предрассветный полумрак, а светлое время — для отражения контратаки, если бы белые попытались вернуть село. По предварительной наметке, — а она давалась перед каждым боем, — нашей роте следовало атаковать село в прямом направлении и захватить его центр, где располагались главные силы врага, а второй роте обойти его слева и двигаться в противоположный конец, одновременно перерезая пути отхода. Но это — предвари-тельный план, а окончательный после личной рекогносцировки командира.

Незамеченными подошли мы к селу и начали сосредотачиваться в предбоевые порядки — в линию взводных колонн. Но полностью подготовиться к атаке не удалось. Безобидный трезвон церковных колоколов, приглашавший верующих на раннее богослужение, мы ошибочно приняли за сигнал тревоги и, чтобы выиграть время, по команде Антикайнена бросились в атаку.

Мне не повезло. В качестве направляющего во взводе я бросился в атаку, но в полумраке угодил на снежный вал, в виде козырька висевший над береговым обрывом, и с довольно большой высоты полетел на лед, почти под ноги белому часовому. Одна лыжа оторвалась и ушла далеко вперед. Ушибов не получил, снег был глубокий и мягкий, но положение оказалось

не из приятных. Впрочем, в затруднение попал и белый часовой Шутка ли: под звон колоколов сверху летит человек в белом халате, да еще так образно выражается по-фински. И он заколебался. То поднимет винтовку и прицелится, то опустит. Пока мы переругивались и я на одной лыже подбирался к нему, с тыла подоспел один из наших курсантов и снял часового.

Атака удалась, белые не только не успели организовать сопротивление, но многие из них были захвачены в одном белье. Гарнизон занимал несколько домов. Выстрелы из них все же раздавались, возникали небольшие перестрелки, и вторая рота, хотя и заняла другой конец села, все же не успела надежно перерезать всех путей отхода. Часть беляков сбежала, в том числе и один из их главарей — Исонтало.

Задание РВС было выполнено. Белые потеряли полевой штаб, склады боеприпасов, госпиталь, а главное — наш удар произвел настолько деморализующее воздействие на противника, что он стал спешно отводить свои войска по всей линии фронта. Захватив пленных и освободив нескольких бойцов нашей армии, попавших к белым и ожидавших смерти, мы направились обратно в Конецостров, имея значительный обоз, отбитый у врага.

По овладению Кимасозером наш отряд превратили в передовой отряд южной колонны, и мы действовали самостоятельно в 3—5 переходах впереди авангардных частей колонны.

В селении Барышнаволок внезапно, к концу дня, наскочили на довольно хорошо организованную оборону противника и понесли первые потери. Четыре курсанта: Копала Генрих, Мойсио Вяйнё, Неволайнен Армас и Лунквист Гуннари — были убиты и несколько человек ранено.

Совершив сравнительно глубокую разведывательную вылазку в селение Келловаара, в дальнейшем отряд проследовал в направлении Вокнаволок — Войница.

С Костомукшей у меня связано неприятное воспоминание. Но из песни слова не выкинешь. Расскажу и об этом. В яркую лунную ночь мы подошли к поселку из нескольких домиков. Лунный свет хорошо освещал противоположный берег небольшого озерка и одинокий дом, сиротливо стоящий на том берегу. Нам предстояло пересечь это озеро и следовать дальше на север, в направлении Костомукши, и мне со взводом поручили разведать тот берег — нет ли там вражеских сил? Отряд в это время располагался на малый привал за домами и пристройками на нашем берегу озера.

Перейдя озеро, я оставил взвод на дороге и сам с двумя курсантами вошел в дом. Первая комната была нежилая,

холодная и на полу местами следы снега. Эту комнату мы осматривать не стали. Что в ней может быть интересного! Вторая комната была просторная и теплая. В ней накурено. Горела маленькая коптилка. На полу множество окурков финских папирос, еще влажных, и тряпки со следами чистки ружейных стволов. Мы пересчитали тряпки с нагаром — около пятидесяти. Картина стала более или менее ясной: были финны. Карелы папирос не имели и курили махорку или самосад. По числу тряпок решили, что было тут около полусотни солдат и недавно, полчаса или час, как ушли. В подполье нашли женщину средних лет, хозяйку дома, как она говорила. На вопросы она отвечала невразумительно и что она, по нашему, вообще могла знать, напуганная до одури? Долго мы с ней не разговаривали, но вообще она подтвердила уже известное нам: да, финны были, да, около полусотни, недавно ушли.

Так я и доложил Антикайнену.

Местность считалась разведанной и отряд выступил без головного походного охранения. Когда голова колонны достигла разведанного мной дома, ее встретили залпами из полсотни винтовок. Враг бил почти в упор с расстояния 25—30 метров. Очевидно, белые нервничали, струсили и, может быть, им в какой-то степени мешал и слепящий лунный свет, падавший в глаза. Били они поверх наших голов, и отряду удалось без потерь вернуться обратно. В хвосте колонны плелся и я. Слышу голоса: «Удачно выпутались, благополучно».

Признаться, я никакого благополучия не ощущал и, не ожидая вызова, подошел к Антикайнену. Тут же стояли Хейкконен, Суси и другие командиры.

Трудно было мне стоять перед разгневанным Антикайненом. Очень трудно. Вопросы били и все более безжалостно обнажали всю несостоятельность моих действий:

— Берег ты разведал?

— Я.

— Ушли финны? Полчаса или час как ушли?

— Я думал…

— Не думать тебя туда послали, а разведать! Ты домик обошел, до опушки леса дошел? Берег озера осмотрел?

Ничего я этого не сделал и потому стоял молча, опустив голову, мечтая провалиться сквозь землю. Ну, вот и заключение:

— Пойдешь снова. Один разведаешь, раз со взводом этого сделать не сумел. Ты понял?

Еще бы не понять! Пулей пересек я озеро и с гранатой в руке, без кольца и с отодвинутой чекой, — так в плен не захватят, — ворвался опять в этот дом. Тут сразу все и прояснилось. Из

первой, нежилой комнаты была еще одна дверь во двор. Дальше широкая тропа к ограде и по ее внутренней стороне более полусотни стрелковых ячеек. И около каждой из них лежало по нескольку стреляных гильз. Значит, я подвел отряд под огонь сильной, заранее подготовленной засады белых. Счастье, что солдаты господина Илмаринена, изучая тактику войны в лесах, усвоили и привычки лесных обитателей — зайцев. Попадись белые к нам в таких условиях, никто бы из них не ушел.

На этот раз белых, кажется, в самом деле не было. Исчезла и хозяйка дома. Но я с докладом не торопился. Осмотрел берег. Может быть, там есть другие, запасные окопы? Дошел до опушки леса и там нашел то, что искал — свежий след большой группы лыжников на север, в сторону Костомукши. Значит, белые действительно ушли. Возвращаться еще раз на обратный берег озера мне не понадобилось. Мой взвод ожидал меня на дороге, возле дома за оградой. Его появление не было для меня полной неожиданностью. Знал я и все мы знали: Антикайнен накажет за ошибки и промахи, но на погибель не пошлет и из беды выручит.

Мое участие в лыжном походе Антикайнена закончилось в селе Вокнаволок.

В бою за Барышнаволок я получил легкое ранение. Его даже ранением назвать трудно — задела пуля мягкую ткань ноги. Перевязав ногу, я продолжал поход, слегка прихрамывая. В ходе рейда, — а переходов опять было порядочно, — повязка сползла. В рану попала грязь, началось воспаление, и в Вокнаволоке я свалился. Село пустовало. Население угнали в Финляндию. Другие, участники белого вторжения, сбежали туда сами. Наши выступили на север, и белые тоже в село не заглядывали. Словом, во всем селе я остался один. По нашим расчетам до Ухты был один хороший переход и оттуда обещали выслать врача и сани. Но тут начались бои за Аянлахти и Войницу и, конечно, было не до меня. Вообще эвакуация раненых в ходе такого рейда представляет почти невыполнимую задачу.

На четвертые сутки меня подобрал идущий по нашему следу авангард южной колонны.

Интернациональная военная школа в карельских событиях 1921—1922 годов участвовала несколькими группами или отрядами лыжников и все они доблестно выполнили свой воинский долг. Наибольшего успеха добился главный из них, выполнявший особое задание Верховного командования — лыжный отряд под командованием Тойво Антикайнена, и руководство чрезвычайно высоко оценило заслуги этого отряда. 12 командиров и 14 курсантов было награждено орденами

Красного Знамени и школа, в числе первых трехсот частей и соединений в РККА, стала Краснознаменной. Этот орден до наших дней украшает боевое знамя Ленинградского дважды Краснознаменного высшего общевойскового училища имени С. М. Кирова, прямого наследника финских командных курсов. Вторым орденом училище награждено за оборону Ленинграда в неизмеримо более трагическом 1941 году.

Около 70 командиров и курсантов было награждено часами. Но к какому из лыжных отрядов принадлежали награжденные, с полной достоверностью сказать сейчас уже невозможно, поскольку именные списки отрядов не сохранились. Наиболее полный, но все же не окончательный и в известной мере приближенный список лыжников отряда Антикайнена приводится в сборнике под редакцией Е. С. Гардина «На Кимасозеро».

Боевой успех лыжного отряда Антикайнена был обусловлен рядом предпосылок:

Отряд состоял из лучшей части курсантов, отобранных из более чем четырехсот лиц списочного состава, по добровольному желанию. Не допускалось ни малейшее принуждение или проявление пренебрежения к тем, которые заявляли о своей неподготовленности к большим лыжным переходам, которые, — как нам объявляли, — отряду предстояло совершить в ходе зимних маневров войск округа.

Больше того — в Паданах, Лазареве и еще раз в поселке Пенинга из отряда отчислялись все, чья физическая подготовленность или умение владеть лыжами вызывали сомнение. И это было правильно! В лыжном рейде по тылам врага одного желания мало. Нужна еще и сила.

Так сложился отряд, в котором почти все курсанты и командиры имели одинаковую физическую подготовку и равные боевые возможности.

Большое значение имело духовное единство коллектива. Может быть, это единство и было еще одним проявлением той высокой девятой волны, которая в свое время воодушевила наши народы на борьбу против бесконечно более сильных врагов, и в дальнейшем, в ходе тяжелейших сражений, превратилась в массовый героизм, постоянное свойство советских людей. Может быть, и тогда ничего другого не оставалось…

На этой внутренней спаянности и духовной зрелости покоилась строжайшая воинская дисциплина, немаловажный источник силы отряда. Все приказания и распоряжения выполнялись мгновенно и самым лучшим и действенным образом. Соблюдение военной тайны было строгим. Маршрут движения, например, объяснялся только головному походному

охранению, но не дальше очередного привала.

Разумеется, и самый тщательный отбор людей еще не создает боевого коллектива. Сплачивание людей в коллектив, воинский в особенности, дело командира, его умения и такта. И мы такого командира имели. Им был Тойво Антикайнен. Не следует, конечно, забывать исключительной роли в отряде Иогана Хейкконена, командира 1 роты курсантов и заместителя командира лыжного отряда, с его тактом, мягкой и непреклонной требовательностью и боевым опытом. Но все же, прежде всего Антикайнен.

Наверное, у всех, лично близко знавших этого многогранного и сильного человека, сложился свой собственный его образ. Есть такой образ Антикайнена и у меня. Основа его — образ Антикайнена на трибуне в тягостное утро 1 сентября 1920 года. Постепенно этот образ обогащался новыми сторонами, не вытеснившими первого — боец политического фронта своей эпохи, массовик в самом верном и лучшем понимании.

Антикайнен — выходец из среды рабочей молодежи Финляндии и выросший в борьбе за власть Советов, — нуждался в постоянном общении с массами и оно было для него внутренней потребностью. Формы этого общения были самые разнообразные, и нередко — неожиданные.

Так, например, можно было увидеть Антикайнена, командира роты курсантов, ходившего на руках вместе с курсантами на плацу во время перекура или весело кувыркающегося вместе с ними. И кто бы угадал в такие минуты в этом невысоком белобрысом пареньке с мальчишескими веснушками того строгого ротного командир, которым он только что был, или неутомимого партийного вожака?

Многие в отряде давно знали Антикайнена. Были такие, которые вместе с ним окончили советские финские командные курсы в конце апреля 1919 года и в тот же день вместе с ним выехали на Олонецкий участок фронта, куда Антикайнена направили командиром взвода пулеметной команды 1 финского советского стрелкового полка.

Были курсанты и командиры, вместе с Антикайненом служившие в 164 финском коммунистическом и 6 финском стрелковом полках, вместе с ним и под его руководством обороняли Петрозаводск летом 1919 года и осенью того же года участвовали в десантной операции в Заонежье. Многие, под руководством Матсена и Антикайнена, к концу лета 1920 года дошли до рубежей Ухты, Юшкозера, Санансалми, освобождая страну.

И Антикайнен хорошо знал нас, курсантов — и каждого, и

способности отряда в целом. Умел поднять людей, казалось бы, на невозможное, когда в этом возникала необходимость. Его требовательность, непреклонная и часто суровая, не вызывала жалоб или недовольства, напротив — встречала глубокое понимание.

Он знал, что мы не избалованы теплым жильем, питанием и удобствами; знал, что мы понимаем: раз в отряде нет врача, фельдшера или хотя бы санитара, нет никакого обоза, — то не будет ни стертых ног, ни серьезных обморожений, никто не отстанет от колонны из-за поломки лыж или лыжных палок.

Скорость движения колебалась в пределах 6—7 километров в час, хотя мы были способны и на большие скорости. Там, где на лыжне появлялась вода, скорость падала намного ниже. Дневные переходы были разные. Короткие, по 25—40 километров, но были и семидесятикилометровые. Дневки нерегулярно и разной продолжительности, от 1 до 3 суток, по обстоятельствам.

Какая бы ни была погода, скольжение или состояние снежного покрова, никогда не случалось, чтобы намеченный переход не выполнялся. Если такая опасность возникала, погрешности в темпе движения компенсировались увеличением числа ходовых часов. Прием простой и действенный!

Бывало, в ходе движения внезапно меняли головное походное охранение. Это означало, что либо оно выдохлось, пробивая лыжню, и потеряло скорость, либо Антикайнен, в целях сохранения тайны, резко менял направление движения. В таком случае смена головного охранения тоже стала необходимостью. Высланное ранее походное охранение не знало нового направления.

Антикайнен не был физически особенно сильным человеком и он нередко уставал. Но мы, курсанты, об этом догадывались только по его шагу в лыжне. Лыжня все покажет! Еще и потому, что в такие вечера не Антикайнен, а Хейкконен или адъютант командира Суси проверяли расположение курсантов на отдыхе. Уже после Хейкконен писал, что хотя Антикайнен иногда и уставал, но никакая усталость не заставляла его отказаться от участия в разведывательных вылазках. Помню и я, как Антикайнен шел с нашей только ротой из Барышнаволока в поселок Часовая гора, всего туда и обратно 80—90 километров.

Из сказанного не следует, что Антикайнен только и рвался в бой и всегда шел во главе лыжного отряда. Он стремился наилучшим образом выполнять приказ Революционного военного Совета Республики и, конечно, был впереди нас духовно, знаниями и волей. Но он командовал лыжным отрядом, а не его походным охранением, и не он прокладывал лыжню.

Тойво Антикайнен был именно таким командиром, в котором мы нуждались — требовательным начальником и добрым и суровым другом. И мы, кажется мне, заслужили такого командира.

Помню себя перед гневным Антикайненом после моей неудачной разведки в походе. Трудно мне было тогда, тяжело и стыдно. Но это — одна сторона. Помню и другую. Площадь Восстания в Ленинграде. Рука Антикайнена на моем плече:

— Рад, что то уцелел, что вожу тебя в строю. Приеду к тебе, поговорим.

Не помню уже, что именно он обещал мне рассказать — что-то важное или просто интересное? Встреча была внезапной, короткой, и совсем мало было тогда сказано слов. Но это были слова все того же старого, доброго и сурового друга. И Антикайнен сдержал обещание, приехал, но я был в отъезде, и мы разминулись. И больше нам не суждено было встретиться.

Осенью сорок первого в Горьком, в госпитале, я узнал о гибели Антикайнена. Время было суровое. Может быть, самое трагическое в нашем нелегком прошлом. Враг еще не знал больших поражений, и мы не ощущали радостного вкуса больших побед. Враг пробивался к Москве и стоял под Тулой.

Потери были огромные и люди уже боялись почтальона. Что он сегодня принесет? Жив ли близкий тебе человек, муж, сын, брат или сестра, или уже похоронные в конверте? В такое время отдельные потери переносились легче. Много было потерь. Слишком много, и мы, с болью, начали привыкать к ним…

Тогда же, 4 октября, ушел из жизни и наш командир, глава красных финнов в 1918—1920 годах — Тойво Антикайнен. Хорошо о нем, боевом руководителе финских коммунистов своей эпохи, писал Тууре Лехен, лучше других на протяжении многих лет знавший Антикайнена:

> «Железная, несгибаемая воля, спаянная с мягкой человеческой нежностью».

Кратко и верно. Лучше не скажешь.

Последняя моя встреча, уже не с Антикайненом, а с его записями, его духовным миром, состоялась не так давно. Тойни Мякеля, мой товарищ курсантских лет, передала мне две тетради в черной обложке: «Тойво написал… тюремные его..» С чувством благоговения и какого-то неосознанного страха я взялся за эти тетради. Что мог написать нам, оставшимся в строю, Антикайнен, приговоренный к пожизненному тюремному заключению? Что завещает он нам, людям? Одна тетрадь содержала записи по философии. Другая — уроки по русскому языку. Вот он, живой

Антикайнен!

…Миновали многие годы и вот я, старый уже человек, направляюсь на поиски курсантской могилы тех далеких лет. Место себе представлял необычайно четко: на поляне, в маленьком лесном островке возле поселка Барышнаволок, на берегу величественного Нюк-озера. Это именно та могила, над которой выступил Тойво Антикайнен и которую мы клятвенно обещали никогда не забывать. Эту могилу и речь Антикайнена над ней, с большой любовью к красным финнам, показал читателям тогда еще молодой писатель Геннадий Фиш в повести «На Кимасозеро». Не знаю, что приковывало Геннадия Семеновича к этой небольшой по масштабам и далеко не выигрышной теме. Знаю только одно — он остался верным этой теме до конца своих дней и мы, красные финны старшего поколения, потеряли в нем верного и дорогого друга.

От поездки товарищи меня не отговаривали. Но сомнения в успехе были и от меня их не скрывали:

— Давно это было. Далеко туда и вам уже…

— Да, сейчас шестьдесят восемь. Потом будет больше. Меньше уже не будет…

— Значит?

— Еду. Некому меня в этом заменить.

— Хорошо! Успеха вам, а мы позвоним в Муезерку. Попросим помочь.

Ну вот и Кимасозеро. В прошлом довольно большое село на полуострове и по обеим берегам озера сократилось размерами и уместилось на той небольшой береговой полосе, где раньше стоял маленький хуторок. Заброшенным поселок не назовешь. Есть электричество, почта, радио, телефон, четырехклассная школа, магазин, пекарня, лесничество, дорожный отдел и строится какое-то предприятие лесхима. Есть и небольшой клуб и комната для приезжих. Людей мало. По окончании четырех классов дети выезжают в интернат. Там заканчивают среднюю школу и превращаются в промышленных рабочих-горожан.

По выходе из вертолета встреча с сельским уполномоченным:

— Нам сообщили о вашем приезде. Но мало ли…

Действительно, тут я уже второй раз и всегда сверху падаю. Ну надо же!

Собралось несколько человек. О новостях бы послушать, а я все одно и то же твержу:

— Нет ли кого, кто в двадцатых годах в Барышнаволоке жил? Это ж недалеко от вас…

— Есть одна женщина. Степанова Клавдия Степановна.

Только плоха она. Дойдет ли?

— Думаете, не может поехать, чтобы могилы точно показать?

— А сам ты дойдешь ли? Песок из тебя по пути не посыплется? — спросила меня одна старая женщина, пожалуй, постарше меня.

— Дойду, думаю.

— А на лыжах уже не дошел бы? Духу бы не хватило, поди?

— Да, на лыжах уже нет.

Пришла Клавдия Степановна, пожилая, на пенсии тогда, сейчас уже в могиле, — приветливая и тихая:

— Могилу знаю. Там на хуторе я жила, пока народ, из-за нового набега врагов, его не покинул. За могилой мы ухаживали. По праздникам красный флаг выставляли…

Мотор «Вихрь» работал исправно и вот из-за островов показалась довольно ровная прибрежная полоса с остатками строений. Поселок, еще в 1941 году оставленный жителями, ветшал. Дома покосились, некоторые и вовсе развалились и всюду бурьян. Но место узнал без труда, хотя и смущал вид лесного островка на поляне. Там же молодые сосенки росли, в оглоблю, а тут огромные сосны. Понял потом: «За те сорок восемь лет, пока я возмужал и, сделав свое, пришел в ветхость, — сосны только набирали силу.

— Клавдия Степановна, кажется тут, на островке?

— Ну.

— Тогда вы задержитесь немного. Я хочу сам, один…

Бугорок там был Это хорошо помню, и с этого бугорка Антикайнен выступил с речью. Могила была немного в стороне, и мы стояли за могилой, слушая Антикайнена. Бугорок нашел. Значит, и могила где-то тут.

— Вот же она, рядом с вами, видите? Земля еще осела потому, сказывали, малой глубины могила была.

Все было верно, и мне осталось только сказать:

— Да, тут.

— Столбик тут стоял, — говорила Клавдия Степановна. И мы нашли в траве этот столбик. — Ограда была, — говорила она, — с угловыми столбами и штакетник, — и мы нашли эти столбы и обломки штакетника.

Значит, эта могила сохранилась в памяти народной. Потеряли ее только мы, клятвенно обещавшие оберегать ее. Обидно, но так сложилось. Из отряда не я один остался. Есть Тойкка Эмиль и Лаври Сало. Есть Ф. Ф. Машаров, один из организаторов нашего отряда. Может быть, и другие. Поклонился этой могиле от имени всех нас, от имени тех, которые доверили мне эти поиски. И, уж заодно, по духовному полномочию — от

имени карельской общественности.

Мы подняли полусгнившие столбы и отметили могилу сосновым колом. Вспомнились слова Лермонтова: «Поставь над нею крест из клена, и дикий камень положи…» Не так мы сделали. Нет тут клена, а креста — свидетельства печального или мрачного исхода — не поставишь на могиле тех, которые шли в светлое завтра. И дикого камня не положил. Есть они тут, камни, и много их. Но не поднять мне, не донести.

Могилу нашли и отметили, но большего бы хотелось. Памятный знак бы тут поставить надо. Недорогой и скромный. Из нержавеющей стали или из алюминия. Такой, примерно, как памятник убитому белыми ездовому из Ругозера на Кимасозере. Написать бы на одной стороне фамилии курсантов, здесь захороненных, а на другой стороне такие слова: «Курсантам Интернациональной военной школы». Был бы он памятным знаком и тем, могилы которых мы уже не найдем. Считаю своим долгом назвать их фамилии: Иоринен Юхо, Неволайнен Нийло, Рийхимяки Яакко, Синдо Юхо, Сухонен Армас и Яяскеляйнен Вяйнё.

…Прошло еще три года и вот он, памятный знак на курсантской могиле в лесном островке на берегу величественного Нюк-озера. Изготовлен он силами молодежи Надвоицкого алюминиевого завода и установлен комсомольцами Муезерского района и туристами Петрозаводска. Следует отметить участие в этом деле газеты «Комсомолец» и энергичную помощь товарища Прокуева Анатолия Ивановича.

Лыжный рейд по тылам врага в Карелии в 1922 году был последним совместным выступлением красных финнов за власть Советов. Не самым массовым или самым тяжелым. Он был самым удачливым из них.

Вскоре наши пути разошлись. Не потому, что друзья моей юности, вместе с которыми я познал первые радости великой мечты и пережил горечь непоправимых утрат, вместе с которыми по мере сил отстаивал новое в России, — не потому, что они пошли по одному направлению, а я — по другому. Нет, все мы шли к одной цели, но не в общем строю уже, а каждый по своей тропе, навстречу собственной судьбе, ласковой или лихой.

Прошли годы и с ними прошла жизнь. Нет больше, или почти нет дорогих моему сердцу красных финнов 1918—1922 годов, только кое-где мелькают их одинокие тени. Трудным был наш путь и суровым. Но сказать только это означало бы сказать не всю правду. Мы познали революционную романтику и лучшие годы были ведомы ее могущественной силой. Мы сроднились с ней и

верим — не умерла она и не исчезла бесследно. Наступит время и она поведет новые поколения финской рабочей молодежи новыми путями все дальше и выше, на те высоты, которых мы не брали, на горы, с которых скатывались. И так будет. Будущее шагает дальше.

ФОТОГРАФИИ

Т. Антикайнен

Г. Ровио

Выпускники финских командных курсов. 1919 г.

Оскари Кумпу

Ялмари Кокко

Руководящая группа лыжного отряда. Справа налево: Т. Антикайнен, И. Хейкконен, С. Суси, Э. Карьялайнен

К. Ниемеля, командир Карельского добровольческого отряда

Иоган Хейкконен

Группа лыжников из отряда Т. Антикайнена

Обелиск в Барышнаволоке

С.Д.Р.

Большевистская организация рабочих Дубровки

Анни Валлин, боец 6-го финского полка, телефонистка и санитарка. 1967 г.

Тойни Мякеля, командир женской роты 6-го финского полка. 1967 г.

Группа командиров и курсантов военной школы, награжденных орденом Красного Знамени за участие в походе на Кимасозеро

Аксели Анттила. 1955 г.

Эмиль Тойкка. 1969 г.

С. А. Мессинг

А. Х. Артузов

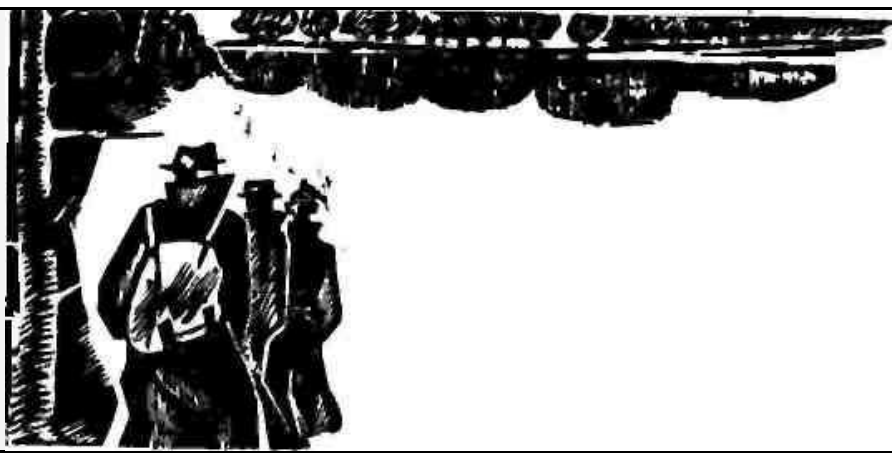
В. А. Стырне

Р. А. Пилляр

Группа пограничников в Забайкалье. Второй справа во втором ряду — И. М. Петров

Александр Самойленко

ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»



НА ГРАНИЦУ

Началось все, как обычно, с напутствия. Последний совет начальника школы Александра Инно: «О прибытии в часть постарайтесь доложить как можно лучше! Шероховатости в знаниях бывают. Но и будущие ваши начальники в частях не все знают. Меньше вас, наверняка. И такие шероховатости, как у вас, обнаруживаются не сразу, а постепенно. Но к тому времени обнаруживаются и подлинные знания. Первое, что в частях видят — это ваше представление командиру о прибытии. Оно запоминается, и по нему судят».

Хороший совет, дельный. Первое впечатление оседает в памяти, но судить по нему… Впрочем, лучше посмотрим, как вышло.

Управление пограничного пункта — на втором этаже деревянного особняка. В первом — магазин сельской кооперации. Маленький магазинчик. По здешним условиям — с широким ассортиментом товаров для жителей села: иголки, нитки, соски малюткам, керосин и колесная мазь. Тут же непременная в те годы изба-читальня. Без избача. Поселок маленький — избач не положен!

Направляюсь на второй этаж. В большой комнате — несколько человек, кто стоит, кто сидит. Молодые еще, не старше меня годами. Только один уже пожилой, лет под пятьдесят. Сидит на столе. Видно, и есть мой начальник. Потом оказалось — помощник начальника, Бомов. Он был в гимнастерке с «разговорами», остальные — кто в чем. Шла веселая, оживленная беседа. В комнате темно от табачного дыма и не очень-то чисто. На полу окурки, в углу — куча мусора, заслоненная метелкой.

Мое «образцовое» представление произвело не совсем тот эффект, на который я рассчитывал. Орлов, начальник пограничного пункта, в дальнейшем комендант участка, сказал:

— Ты, дружок, не кричи. Глухих тут нет. И козырять брось! Коммунист я с дореволюционных времен. Видывал эти шутки и не терплю. — Не зло он это сказал, по-товарищески, в порядке доброго совета.

— Эх, Эдуард, там ихние благородия так научили, — заметил Бомов.

Вообще Бомов, как я потом убедился, — ехидный старикан. Не злой, но язвительный очень.

Правильно говорил начальник нашей школы: первое впечатление оседает в памяти. Только оно часто бывает ошибочным. Так и со мной получилось. Настороженность

чекистов-пограничников к моей армейской выучке, к армейским порядкам вообще была наносной. Стерлась она быстро. С Орловым у меня вскоре установились очень хорошие отношения. А командир он оказался строгий. Бывало, даже за окурок на крыльце делал замечание, и я стыдливо оправдывался: «Виноват, товарищ комендант, не заметил. Приму меры». Если он попадал на занятия, то настойчиво допытывался: «Почему штык имеет ребристую поверхность? Где находится антапка?»

Хорошо помню мою первую заставу, тогда еще — кордон. Заставами они стали именоваться с мая 1924 года. Это была одна маленькая комната. Нары вдоль стены. Столик, сколоченный из патронных ящиков, стоял у единственного перекосившегося окна, возле двери — плита для варки пищи, она же обогревала комнату. Ни телефона, ни кабеля. Пограничная дивизия, уходя, захватила свои средства связи. Табельные — не оставишь! Никакого транспорта, никаких запасов, даже кладовых на кордоне не было. Одним словом, вышли на границу налегке.

Устава пограничной службы мы еще не имели. Всунул мне Бомов подшивку приказов и наставлений:

— Бери! Ничего в них толкового нету но иметь обязан. Береги, секретные.

В числе других бумаг была копия инструкции, утвержденной еще С. Ю. Витте для пограничников его эпохи. Запомнилось одно любопытное требование: кордонную книгу, — в ней записывались все наряды по охране границы, всякие происшествия, случившиеся за сутки, и замечания посетивших кордон начальников, — надо было хранить припечатанной к полу, на шнурке. Это для того, чтобы ленивые начальники не могли затребовать представления книги к себе для росписи без отрыва от собственной кушетки. Хорошо знал граф свои кадры. Обращало внимание и такое требование: солдатам-пограничникам после демобилизации из армии запрещалось проживание в пограничной зоне. Недоверие полное и публичное!

Бедная была страна, и мало она могла дать своим пограничникам. Орлов где-то нашел и дал нам старый телефонный аппарат, стенной, фирмы Эриксона. Но без кабеля — не нашлось его. И пограничники, как бы между делом, сами изготовили провод, раскрутив двухжильную колючую проволоку. Не из легких такая работа, если учесть, что из инструмента мы имели только штык и отвертку.

Сигнальных приспособлений и контрольных полос на границе не было, да и проложить эти полосы мы не могли: вся земля находилась в частном пользовании. Но выход нашли. В лесных массивах стебельки травинок связывали вершинами одну к

другой. И так на протяжении многих сотен метров. Местами даже по два-три ряда. Получалась совсем неплохая контрольная полоса! Внимательно, метр за метром, осматривали береговые откосы — изучали, какие следы на них оставляет нарушитель.

Петроградское направление, в особенности на его лобовом, белоостровском участке, было наиболее напряженным. До города — меньше сорока километров, а до его оживленных пригородов — Левашова и Парголова — неполных двадцать. И все лесными массивами. Не заметил вовремя или не задержал нарушителя, значит, вовсе его упустил. В Петрограде уже не найдешь!

Вражеские агенты — шпионы и диверсанты — прорывались через границу группами по нескольку человек, хорошо обученные и хорошо вооруженные. Перестрелки с ними были довольно частым явлением. Били мы, попадало и нам. В одной такой схватке, в частности, получил ранение комендант участка Орлов.

Нарушители пытались заниматься и контрабандой. Наши законы были крайне мягкими, и они этим пользовались. Лиц, пойманных с контрабандными товарами, если шпионских и диверсионных связей установить не удавалось, всего лишь выдворяли из страны. Даже такая формула существовала — «неквалифицированная контрабанда». В большей части она служила своеобразным зонтом, прикрывавшим шпионские и диверсионные связи врага. От нас пытались выносить произведения искусства, изделия из золота, серебра и слоновой кости. Скупали, платили червонцами, чаще фальшивыми, зарубежного изготовления. Нэповская буржуазия Петрограда предъявляла свои требования на дамские часики из американского «золота», на пудру «Коти», кружева, кокаин. Враг широко использовал беспечность некоторых наших хозяйственных руководителей и издательских работников. Государственные объединения издавали подробнейшие рекламные справочники со всеми данными: номенклатурой продукции, характером оборудования, мощностью предприятий, численностью их персонала. Даже адреса и номера телефонов руководящих работников указывались. Такие справочники продавались в киосках в неограниченном количестве. По ним легко можно было установить темпы развития той или иной отрасли хозяйства и направленность экономических усилий страны.

— Удобно очень, — заявляли задержанные. — Сколько бы труда надо было потратить, чтобы все это узнать! И риск большой, и накладисто тоже. А шпионажа не докажете. Все в киоске приобрел. Нелегального ничего нет. На память себе

приобрел, может быть.

Знали мы, о какой памяти идет речь, понимали. Отбирали эти «памятные» справочники и выдворяли из страны их владельца. Больше ничего!

В мае 1923 года Англия предъявила нашей стране ультиматум, известный как «нота Керзона». Она грозила нам захватом и уничтожением наших судов и другим,. насильственными мерами. Мы еще не забыли коварства англичан, помнили их хватку. Понимали, что это очень серьезная угроза, и отвечали на нее всеми нашими силами и средствами. Много было напряженных дней и бессонных ночей. Очень много! На охрану границы выходили всей заставой сразу, на пять-семь дней. Захватывали с собой и телефонный аппарат, чтобы им не пользовались без нас и во вред нам. Больше ничего стоящего мы и не имели.

Днем охраняли границу парными нарядами. Один поднимался на дерево и наблюдал. Другой отдыхал под деревом и доставлял товарищу еду. Потом менялись местами и обязанностями. Ночную охрану несли одиночными нарядами. Так обеспечивался более широкий фронт охраны.

В один из таких дней в Старый Белоостров на машине приехал Залуцкий, член ЦК партии, в дальнейшем видный троцкист. Орлов просил его хотя бы очень коротко информировать командиров-пограничников о возможном дальнейшем развертывании событий в связи с нотой Керзона. Залуцкий согласился. Узнав потом, что собралось всего человек десять, обиделся и выступать не стал:

— Это мне выступать перед десятком человек? Вы что, шутите? Я сюда на отдых приехал, в леса. Имею же я право на воскресный отдых.

Да, право на отдых он имел, и мы разбрелись по своим заставам, тоже в леса. Но только не на отдых…

Менее чем через год не стало Владимира Ильича Ленина. Ильич долго и тяжело болел. Со все возрастающей тревогой каждый день ждали бюллетеней о состоянии его здоровья. Ждали их и боялись…

До полуночи я был на границе. Стояли сильнейшие морозы. Теплой одежды мы еще не имели, и в такие холода от командира требовалось показать бойцам личный пример выносливости Устал я и продрог. Спать, однако, не хотелось, и я пошел на заставу. В это время пограничник Исаков, — потому и сохранилась в памяти фамилия молодого рабочего Сестрорецкого завода, что видел я его в ту незабываемую ночь, — принимал

телефонограмму. По тому, как он переспросил: «Что? Ленин?!», — и по выпавшему из его рук карандашу я понял, что случилось непоправимое, хотя страшные слова и не были сказаны.

Сидели молча. Никакого митинга или беседы. Не лезь в чужую душу!

В помещении происходило что-то непонятное, невиданное ранее. Уставшие, невыспавшиеся пограничники вставали сами, без команды. Подходили к столу и брали в руки эту телеграмму, которая так и оставалась принятой не полностью. Впивались в нее глазами, может быть, надеясь на ошибку… Поняв, что все так, что нет больше нашего Ильича, молча уходили в морозную ночь…

Пятиминутными непрерывными гудками страна провожала в последний путь своего вождя, учителя и друга. И, может быть, прежде всего — друга, умного, ласкового, сурового. Обнажив головы, стояли мы, пограничники, на обходах. Со станции Белоостров слышались глухие гудки паровозов. Более близкая к нам по расстоянию финляндская станция Раямяки молчала. Там другой мир! Знал я это раньше и понимал. Но сейчас ощущал как-то особенно сильно и с глубокой болью. И на всю жизнь запомнил это молчание…

Может быть, еще никогда раньше смерть человека не вызывала столько слез и горя Но эти траурные дни были и великой школой, и мы вышли из нее более зрелыми. Мы познали в себе силу. Силу и ответственность. Не только мы, коммунисты. В партию вступили сотни тысяч новых членов, лучших людей. И долгие годы мы их так и называли — «коммунисты ленинского призыва».

КРУТОЙ ПОВОРОТ

В апреле 1924 года меня внезапно отозвали на учебу. Послали на Фарфоровский пост. Тоже под городом, только на противоположной стороне, в направлении на Москву. И уже не под Петроградом, а под Ленинградом. Недоумевал, почему послали именно меня? Особенных замечаний от командования не имел и по подготовленности и военной службе превосходил многих других. Потом махнул рукой: начальство лучше знает!

Здесь захватывающе интересными и поучительными были беседы и лекции Шидловского, бывшего начальника розыскной полиции столицы Российской империи. Привлекали внимание еще и собаки. Овчарки и доберманы разные, большущие и злые. Всю жизнь я собак остерегался и по возможности избегал встреч с ними. Маленькие песики еще куда ни шло! Но и у них тоже в опасной близости от языка — зубы. Отказался водить собак — не могу. Впрочем, с меня ничего и не требовали. Живи и поживай! Кормят весьма прилично, деньги платят, и город рядом.

Но вдруг — вызов к Мессингу. Мессинг, один из основателей ВЧК, член коллегии, был Полномочным представителем по всей огромной Северо-Западной области. По рассказам я знал, что Станислав Адамович — человек требовательный и суровый. Зачем я ему понадобился? Все свои грешки перебрал, а накопилось их не так уж мало. Занимался так себе, для виду только, и в город самовольно отлучался, собак боялся. Неужели это они, проклятые, меня до Мессинга довели? Не похоже. Для такого разговора есть начальники куда меньше чином. Может быть, у меня на заставе что обнаружилось? Так нет — там, вроде, все было нормально, даже хорошо. Не могу вспомнить ничего заслуживающего внимания. Но раз вызывают… где-то маху, видно, дал…

Пропуск был заказан. Вхожу в кабинет, Мессинг один Вид у него действительно суровый. Принял сухо, невежливо:

— Расскажите о себе все, что помните.

— С чего начинать?

— Как обычно, с начала.

Хорошо он меня знал. Лучше, чем я сам себя. Если забуду что или умышленно утаю мелкий грешок, — напомнит. Знал он и мою учебу на курсах, и самовольные выезды в город, и мое отношение к собакам. Знал он и мою заставу, и меня там. Может быть, для того и отозвал, чтобы без меня проверить, какие следы я на границе оставил? И раз Мессинг знает, то я решил выкладывать все до мелочей. Он слушал внимательно и не

перебивал, но вдруг спросил:

— Что вы знаете о контрреволюции?

— Знаю… — Тут я себя знатоком считал. И начал с размахом, но дошел только до Милюкова. Мессинг мягко остановил меня:

— Оставим пока Милюкова. Слыхал о нем одним ухом. Вернемся еще и к нему. — И тут же, в упор: — Лично вы врагов видали? Не по газетам и книгам, а настоящих живых людей? В последние дни таких видели? Или в течение года хотя бы?

Я чувствовал, как горят уши. Ну, ни болван ли! Мессингу о Милюкове! Есть ли у бога еще такие идиоты, или он весь запас дурости на меня одного ухлопал?

Беседа затянулась, тихая и дружеская, беседа сильного и умного наставника с учеником. Старательным, может быть, но еще серым. Однако наставник по плечу не хлопал, не называл Иваном.

Поближе к полуночи один за другим пришли Салынь и Шаров. Как Мессинг их вызвал, я не заметил. Салынь — заместитель Полномочного представителя, выдержанный, немногословный латыш. Шаров — начальник контрразведывательного отдела, нервный, тяжеловатый и порывистый. Впрочем, не он решал. Мессинг показал меня им и сказал несколько слов: «Вяхя, он все знает. Дайте ему номер того телефона. Он позвонит, когда будет время. Договоритесь о встрече».

Так началось мое участие в чекистской операции «Трест».

Первое задание, еще от Мессинга, было простое и странное: выехать ночным поездом в Сестрорецк и там проникнуть, никем не замеченным, в кабинет начальника отряда. Может быть, проверяли, способен ли я хоть на такое? Подобные простые приемы я знал — враги научили и, конечно, еще лекции Шидловского.

Прежде чем идти на поезд, я снял фуражку, завернул в газету, а воротник гимнастерки вывернул и таким образом оказался в типичной одежде простых людей тех лет.

В темном углу станции подождал отправления поезда и сел в вагон уже на ходу. В плохо освещенном вагоне забрался на верхнюю полку и лежал там до прихода поезда в Сестрорецк. Здесь опять укрылся на станции, а когда дежурный по пограничному отряду вышел на охрану штаба, я незамеченным вошел в кабинет начальника отряда. Им был тогда Паэгле, латыш. Очень требовательный и очень добрый человек, честный и знающий. Он ожидал меня. Сказал, что знает о моем особом задании и добавил, что он сам и рекомендовал меня для этого дела. Сообщил еще, что приказ о назначении меня начальником

моей заставы уже отправлен, и мы простились.

На заставу шел пешком. Что для меня неполный десяток километров! Только не понравилось мне задание Мессинга. Я спорт любил, и по некоторым его видам — по прыжкам с места, например, или бегу на 800 метров — приближался к союзным достижениям. Мечтал попасть в институт физкультуры. На черта мне шпионы всякие. Уже и план у меня наметился. Буду тянуть время, волынить, и Мессинг отстанет от меня. Так я решил, но вышло совсем по-другому.

Мессинг меня предупредил: «Не торопитесь! Без моего согласия ничего не решайте. Но не упускайте лесосплава. Сплавщики будут переходить за бревнами и на нашу сторону. В их числе много контрабандистов и агентов врага. Упускать такую возможность нельзя».

Сплав леса проходит здесь, в районе нашего участка границы, быстро. Сутки или двое сплавляет одна сторона, финны, положим, а за ними — наши. Так поочередно, через год, начинают, первыми то они, то наши. Рассчитываю, что если пропущу лесосплав, то и это можно объяснить: поздно, мол, прибыл на заставу. Значит, на год дело отодвинется. А там оно, может быть, и забудется. Словом, выход нашел!

Из Александровки остаток пути, всего два с небольшим километра, шел я по дозорным тропам, по-над рекой. По реке плыли бревна — лесосплав начался. Остановил одно бревно, посмотрел — клеймо финское. Обходя небольшой заливчик, образовавшийся из-за подъема воды, я неожиданно столкнулся с финским сплавщиком. Он шел из нашего тыла с багром. Финских бревен в этом заливчике не было, и следовательно, он нарушил границу. Или встречал кого, или провожал? Тут я заметил: у этого финна бельмо на глазу — значит «Косой», необычайно смелый контрабандист, известный мне по местному розыску. И я не задержал его. Мы с ним договорились о завозе в Ленинград контрабандных товаров, когда я найду в городе верных и состоятельных покупателей.

Финна отпустил, а сам — бегом на заставу. Бегло принял ее, назначил наряд на сутки и сразу же — на станцию. Очень торопился с докладом Мессингу о таком необычайном, как мне показалось, успехе.

Позвонил по известному мне телефону. Ответил Салынь. Меня встретили и через какие-то дворы, минуя пропускное бюро и главный вход, провели в здание. Этим путем я потом и пользовался в течение почти двух лет, и получалось всегда так, что и в самом здании я никогда никого не встречал, кроме тех, к которым имел дело. Мессинга в управлении не оказалось. Меня

принял Салынь. Тут же был и Шаров. Докладывать не приходилось, и я начал, как Мессинг меня учил, сразу с главного, — сказал коротко: «Я связался с «Косым».

Тут на меня набросился Шаров. «Косого», по-видимому, он хорошо знал, и я получил головомойку экстра-класса! Вначале он посмотрел на меня неподвижными глазами, как удав на кролика, и пошло… И сопляк я, торопливостью и самонадеянностью проваливший дело, и нарушитель прямого приказа Станислава Адамовича о недопустимости каких-либо решений без его санкции. Все в этом же духе и с такой же резкостью. Салынь сидел и молчал. Нельзя было понять, готовил ли и он свою порцию проклятий на мою голову или же не разделял столь бурного проявления чувств. Скорее последнее. В самом разгаре разноса вошел Мессинг.

— Что за крик такой?

— Вот этот сопляк… — начал было Шаров, но Мессинг его прервал:

— Прекратите! Оценки я даю.

Мессинг был суровым человеком, но такому нельзя не верить, и поэтому с ним всегда было легко. Он сел против меня и произнес своим особенным голосом, и властным и каким-то проникновенно-обязывающим:

— Расскажите все, как было, все!

Теперь я действительно рассказал все. Мессинг слушал, не перебивая. Молчали и остальные. Ведь перебивать меня — означало бы перебивать и Станислава Адамовича. А кто бы осмелился на такое!

Я признался: не по душе мне задание. Хотел волынить, пока не откажутся от меня. Встреча была неожиданной, а бельма с большого расстояния не разглядел. Потом уже стало поздно. Если задержу «Косого», значит, навсегда потеряю надежду выполнить особое задание. Отпущу — вызову подозрение у финнов. Словом, я не имел выбора. Разговор наш шел примерно так. «Косой» просил отпустить его. «Я рабочий, и вы рабочая власть. Зачем же вы меня задержите?» Потом он стал говорить, что мы с ним только вдвоем, два финна. Неужели не можем договориться? «Вам, — говорил он мне, — наверно тоже не так уж хорошо на чужбине?» И тут я сделал вид, что сдаюсь. Сказал ему, что притеснять начали нас, финнов. Учился, мол, в академии, и через две недели выгнали. На заставу пока. Не знаю — надолго ли? А у меня нет ни специальности, ни денег. Куда деваться? Тут «Косой» оживился и смело заявил:

— Будут деньги. Быстро и много, и насчет паспорта можно подумать. Поможем. Контрабанду в Питер возить надо, понял?

Есть товары — объедение. Мало места занимают, а стоимость чертовская! Кокаин, пудра «Коти», кружева, дамские часики…

— Ну что ж, давай!

— Как так — давай? Ты в Питер поезжай. Покупателя найди, и чтоб аванс для верности…

Так и договорились. Вызов — косо воткнутая палка у кустарника.

Станислав Адамович нашел мои действия правильными. Заметил только, что насчет академии я переборщил. Можно было и пониже рангом взять. Ассортимент контрабандных товаров решительно изменил: не кокаин и пудру, а детскую одежду! Открываем детский дом, а там ребятишки голые. Деньги выдали. Задаток якобы от нэпмана-заказчика.

Потом начался большой разговор. Говорил опять Мессинг, тихо и убедительно:

— Контрабанда — не цель, а путь. О вашей жадности на деньги «соседи» быстро узнают, и они вас найдут. Предложат вам работать с ними против нашей страны…

— Не будут они доверять мне. Я и раньше им…

— Доверять? Много захотели! И для чего вам доверие этих господ? Задания будут давать. Будут требовать выполнения и будут грозить разоблачениями, если надумаете отказываться. А нам только это и надо. С любым их заданием — ко мне, и как-нибудь найдем им ответ. Но в этих делах уже все только с моего согласия. Все!

— Это я понимаю.

Установили мне дополнительный оклад по пятьдесят рублей в месяц и дали номер — четыреста с чем-то.

Выдвинули непременное требование: о моей задаче никто не должен ничего знать Никто! В нужном объеме Паэгле будет информирован Управлением. О связи решили просто: я самостоятельно выезжаю в Ленинград при первой необходимости. Если я буду нужен в Управлении, за подписью Паэгле поступит телефонограмма, запутанная, по каким-либо хозяйственным вопросам, но в ней найдутся и цифры — от одного до пяти — время явки в Управление.

«Косой» ворчал, ломался: «Что это за товар — детская одежда! Много места занимает и стоимость ерундовая». Но деньги есть деньги, он получил «аванс от покупателя-нэпмана» и сдался. «Ладно уж, только поищи покупателя на более стоящие вещи». Так и договорились: пока одежда, а там кокаин, пудра и кружева. Но не понадобились эти вещи. Все пошло, как предвидел Станислав Адамович. На одну из встреч явился не «Косой», а личность новая, с властной речью. Не уговаривал, диктовал:

«Контрабанду немедленно оставить. Опасно и малодоходно. Выполняйте нашу волю, и будут деньги и возможность возвращения на родину. О ваших нарушениях советских законов пока сообщать в ГПУ не будем, но если…»

— Я бы с радостью, но что мне делать? — пытался я выразить недоумение.

— Придете в следующий раз. Поговорим. Надо небольшие формальности соблюсти. После будут и задания и деньги.

— Мне сюда денег не надо. Я ж к вам перейду, лучше, чтоб у меня там деньги были в сохранности, — возразил я.

— В банке будут.

— Это хорошо, что в банке. А встреча когда?.. — спросил я и пояснил: — Дело в том, что меня здесь с неделю не будет. У нас соревнования окружные, и я буду в отъезде.

— Вернетесь — выставите знак, — продиктовала мне «новая личность».

Первым же утренним поездом я выехал. Не на соревнования — к Мессингу. Поехал к нему убежденный в правильности моего разговора с тем господином на финском берегу, по-видимому, имевшим прямое отношение к разведорганам враждебной страны, хотя ни своей фамилии, ни должности тот мне не назвал. С фамилиями, как я потом убедился, вообще было довольно свободно — у каждого имелся их немалый запас. Я понимал, что опять нарушил приказ Мессинга — принял решение без его предварительного согласия. Но меня это теперь особенно не волновало. Не мог же я сказать, чтобы ожидали, пока я узнаю решение Станислава Адамовича.

Мессинг, как в дальнейшем и всегда, принял немедленно, был, как обычно, вежлив и сух, но внимателен. По-видимому, таким он и был — вежливым, суровым, и глубоко понимающим каждого человека. После моего сообщения он спросил — действительно ли намечаются спортивные соревнования?

— В Сестрорецке начинаются завтра. Было сообщение и о том, что будут окружные… Я не участвую. Не имел времени на подготовку.

— Хорошо, что так, — сказал Станислав Адамович. — Запомните: никогда не говорите им неправды, особенно в мелочах! Вас проверять будут; мелкие ошибки усилят настороженность врага и могут провалить дело. На соревнования выезжайте. Толкайтесь там, чтобы многие вас видели. На границе не показывайтесь. Мало ли наблюдателей враг может иметь и на нашей территории… Через неделю я вас вызову. Телефонограммой за подписью начальника отряда. Не забыли договоренности о ней?

— Помню.

— Пока все идет хорошо. Доверять вам едва ли они особенно доверяют, но использовать хотят. Не страшно вам с ними?

— Не скажу, чтобы просто было. Но особенно не боюсь…

— Будут еще большие трудности и опасности. Главное — ни при каких условиях нельзя допускать провала. И оружия вам применять нельзя! Продавшись за деньги, вы превращаетесь в холопа, а холопы услужливые и безвольные… Так что играйте свою роль по-настоящему.

— Понимаю.

Были тут и Салынь и Шаров. Они, насколько помню, ничего не говорили.

Однажды дежурный по заставе доложил: «Телефонограмма поступила Не могу ее понять. Каких-то людей к трем часам в отряд!» Быстро назначаю наряд на сутки и выхожу, предварительно предупредив своих: «В комендатуру пойду. Там и телеграмму разберем». Поездка в Ленинград не требовала много вымени. До станции меньше трех километров, а езды поездом до города меньше часа.

В кабинете Мессинга, кроме самого Станислава Адамовича, как обычно, Салынь и Шаров. Из Москвы — Стырне или Пилляр, точно уже не помню. Только не Артузов. Артура Христиановича я позже видал в урочище «Медный завод» и хорошо запомнил. По бородке запомнил и по улыбке, ласковой и настораживающей. Вел беседу со мной, как всегда Мессинг. Он не начальник Управления, а Полномочный представитель. Только он в области решал вопросы от имени и по поручению коллегии. Решал деловито, быстро и окончательно. На этот раз он мне сказал:

— Договорено по всем линиям, что вы переходите от финнов к русским монархистам. — И тут же внезапно спросил: — На границе не показывались?

— Только вчера вернулся на заставу — ответил я. — Ночь на границе сидел, в наряде с пограничниками.

— Вас финны не видели?

— Если сегодня, может быть…

— Финны теперь вами распоряжаться не имеют права. Они только связные, не больше. Но порывать сними нельзя. Если будут отдельные задания — доложите. Разберемся. Через границу будете переправлять людей. Опасных врагов. И туда и оттуда, — предупредил он и опять спросил: — Вы поняли меня?

— Насчет финнов понял. Остальное — не особенно…

— Узнаете постепенно. Пока так: вы продались финнам. Такой линии и придерживайтесь. Финны вас передали русским

монархистам и англичанам как бы напрокат. Распоряжаться вами финны не будут. Им это запретили, но они ваши хозяева, и вы сами к ним внешне тяготеете. Таким должен быть образ вашего поведения, — уточнил задачу Мессинг.

— Не могу я людей перевозить. Я ж не один на границе — застава целая и там не олухи сидят, — сказал я.

— Коменданта вам заменили. Он будет вашим зонтом. Вмешиваться не станет. Помочь обязан. Что вам еще надо?

— Или замените помощника или вовсе оставьте одного меня, — попросил я. — Мой помощник умный и энергичный товарищ При нем я ничего делать не могу. Даже с «контрабандой» чуть было не попался…

— Молчать заставим, — скоропалительно бросил Шаров.

— Молчать Коротков не будет, — возразил я. — И не хочу этого. Или я один, или без меня. Или одного меня оставьте, или дайте мне идиота…

— На всех заставах помощники? — спросил Мессинг.

— На всех…

— И вам надо, — заметил он, — иначе непонятная исключительность, настораживающая. Но идиота будем искать. Мир не без оных. Что еще?

— Эти господа будут ходить пешком на станцию или подвода им нужна? — осведомился я.

— А до станции далеко?

— Песчанка близко, но там опасно. Бывают тыловые дозорные Александровской заставы, засады устраивают. Левашово — километров пятнадцать. Парголово еще дальше. Туда удобно, все лесом. И пропуска в поездах уже не проверяют. Если бы иметь хорошего коня и легкую двуколку, то времени немного надо. На прием от финнов полчаса и с час-полтора на езду до станции. Столько же и обратно. На полную ликвидацию признаков перехода через границу нужен еще час. И полчаса, чтобы поставить и почистить коня. Всего часов пять надо, — высказал я свои соображения.

— Не совсем так, — возразил мне уже москвич. — Не только на станцию доставить. Надо, брат, еще билет в кассе взять и посадить именно в тот вагон, который мы вам укажем.

Мне оставалось принять это к сведению и исполнению.

— Нужно еще, чтобы моей заставы без меня и моего согласия не проверяли; налетят внезапно и все дело провалят…

Заключение Мессинга было коротко: «Подумаем и решим. Этот небольшой пакет — в конверте без печати — передадите тому, кто придет на ваш вызов, и постарайтесь изучить его поведение. Потом доложите мне».

Не все я понял. Мудрено все это, и черт знает для чего? После подумал: может быть, у разрушенной лесопилки попытаться? Там мыс острым углом выходит на финскую сторону, и контрольная тропа его минует. Дальше все лесами… Идея заманчивая! Надо только хорошо все взвесить. А пограничники? Как быть с ними? Неподвижные наряды назначать? Это идея! Не снимутся без команды и места менять не будут. Можно оставить себе свободную полосу метров 500—700, легко можно. Следы? Но это ерунда вовсе! Сам за час ликвидирую. А время? Тут трудно: уходить придется на всю ночь А ведь я почти всегда круглосуточно бывал на заставе. Уйду на ночь — заметно будет. Хотя, кажется, тоже окошечко есть. Побыть на заставе суток двое, посидеть в наряде с пограничниками и сказать потом: «Устал, товарищи. До утра не ищите. Спать хочу». Поверят? А почему бы нет! Ведь это будет у всех на глазах, все увидят, что не спал я. А спать когда? Вот это — проблема… Словом, пока добирался до заставы, какой-то план созревал, и в основном верный. Так потом и пошло. Только времени на сон найти не мог. Этот вопрос так и остался не решенным до конца…

Помощника мне нашли как раз такого, как я просил, и помех с его стороны я не ощущал. А комендант Александр Кольцов энергично и деятельно опекал мою безопасность в нашей собственной среде, в мои дела он не вмешивался. Добрым товарищем и хорошим другом был для меня мой начальник Александр Кольцов!

В определенный день воткнул я палку в землю перед кустарником и этим дал вызов. Не прямо ее поставил, а с наклоном по часовой стрелке, так, что она и время, желательное мне, показывала. Более или менее точно, с 22 до 23 часов. Толковое изобретение получилось, не мое — «Косого». Мастер он был на такие комбинации, знаток своего дела. Палка служила сигналом и после выхода «Косого» из игры.

На сигнал явились два человека. Пароль они знали, и я вручил пакет. Знали они и о моем повышении в ранге. Никаких заданий не давали, и «формальности» отпали сами по себе. Только пожелание высказали, почти просьбу: «В случае крайней необходимости, не откажите помочь». Согласился, разумеется: «Какой тут может быть разговор, пожалуйста!»

Поведение финнов, каким-либо образом связанных с нашей операцией «Трест», требует пояснений. Встречи я имел с безымянными лицами из финнов и видел их только в штатской одежде. Никаких должностей, никаких званий, даже фамилий они не называли. Первого финского офицера в военной форме я

встретил много лет спустя на съемках фильма «Операция «Трест» в Серебряном Бору. А раньше, на границе, встречался только со штатскими. О том, что это были финны, мог судить по их чистой финской речи. А о том, что они еще и представители властей, — по интонации их разговора. Если бывали при этом и третьи лица, например русские монархисты, — финны исчезали. Словом, они старались держаться в тени. Так всегда! И сам господь бог не доказал бы участия финских должностных лиц в этих делах.

Джентльменское соглашение о моем особом положении выполнялось точно, за редкими исключениями. Но такая и была договоренность — вызывать в случаях крайней необходимости. Помню, как-то раз вызвали неожиданно. Вижу — двое, опять в штатской одежде. С одним встречался раньше. По слухам, капитан разведслужбы, но за точность не ручаюсь. Просили выяснить, не задержан ли нашими пограничниками агент финской разведслужбы? Сообщили его фамилию и приметы. Я, конечно, обещал это сделать и утром выехал в Ленинград. Поехал через Сестрорецк. Там, в штабе отряда, содержались и арестованные. Задание могло быть и проверкой, и не исключалось, что за мной следили. Походил я по разным службам штаба, помаячил там и по узкоколейке смотался в Ленинград.

Мессинг оказался на месте. Выяснилось, что такой финский агент задержан. Точнее — один из задержанных в Сестрорецке имеет схожие приметы, и Мессинг поручил Шарову написать для меня ответ финнам. Переводя ответ Шарова на финский язык, я обнаружил там такие подробности о задержанном, которых бы начальник заставы в штабе отряда узнать никак не мог. Я отказался от передачи такого текста:

— Вы же меня угробите, товарищ начальник. Где бы я такие подробности мог узнать? И для чего они финнам?

— Я угроблю? — вскипел Шаров. И не миновать бы мне очередной головомойки, если бы не зашел Мессинг. Он скупо, как всегда это делал, отчитал Шарова.

— Можем надеяться, товарищ Шаров, что сами финны знают место рождения и семейные неполадки своих агентов. Им нужен только ответ: задержан ли их агент или нет.

Обратно я ехал тоже через Сестрорецк. Пешего хода в этом случае у меня прибавилось, но выигрыш мог быть куда большим. Если за мной следили, то пусть знают, что целый день я торчал в Сестрорецке!

Через некоторое время я вызвал тех двух финнов и сообщил им, что очень похожего человека в Сестрорецке видел. Арестован он. При мне его выводили из штаба отряда в арестное помещение. По всем признакам — он! Более подробно узнавать побоялся.

Финны меня поблагодарили, хотя это сообщение едва ли их обрадовало.

Ко мне финны относились корректно и с большим пониманием. Мое непременное требование предоставлять мне каждый раз по двое-трое суток для подготовки границы перед тем, как принять от них людей с целью переброски на станцию железной дороги, воспринималось как должное. Действительно, переброска людей через границу — дело сложное, опасное и требует подготовки. Мне же время нужно было для того, чтобы сообщить Мессингу о предстоящем приходе «гостей».

По-видимому, мое «окно» выполняло не только задание центрального руководства, но обслуживало еще и ленинградское ответвление «Треста», и людей поэтому проходило через него довольно много. Были разные. И опасные враги и пустышки. Проходили также и свои. О том, что будет переходить границу свой человек, меня не информировали, и эти свои едва ли знали о моей настоящей роли. Словом, тайнами мы не разбрасывались.

Многое улетучилось из памяти, но некоторых из тех, кого мне приходилось перебрасывать через свое «окно» за границу, помню. Одним из них был капитан первого ранга царского флота. Жил он в Финляндии. Фамилии его я не запомнил, да и вообще фамилий они имели великое множество, на любой вкус.

Этот морячок к нам проникал недалеко. Не дальше Ленинграда. Сегодня ночью, положим, шел к нам, завтра — обратно. Помнится, что моряк плавать не умел и боялся водоема размерами чуть больше стакана. Если он следовал к нам, мне приходилось переправляться через речку дважды: туда и назад. На том берегу надо было раздеть его и обвязать веревкой. Потом перетянуть веревкой, как бревно. Одежду через речку переносил я. Если же он шел от нас в Финляндию, то все делалось в обратном порядке. Раздену его, прицеплю к веревке и тяну. Оружие он имел, но враг был не опасный — так, пустышка.

Чтобы показать могущество, — как мне объяснили, — белого подполья в России, от имени которого якобы действовал «Трест», показать, что «Трест» все может, решено было перебросить через границу двух лоботрясов, родственников каких-то влиятельных или «великих» русских монархистов. Один приходился племянником Врангелю, другой чей-то брат. Прошли они через мои руки с большим перерывом Может быть, даже с годовым: один в 1924, другой — в 1925 году.

О племяннике Врангеля сказали, что он большой трус, тупица и не нужен никому, даже тюрьме. Просили меня в пути побольше нагнать на него страху, чтобы ему было что вспоминать в

старости. По-видимому, я перестарался, и в конце пути этот господин мог только ползать. На ногах он не держался. Потом мне рассказывали, что в письме из Парижа он сообщал, что прошел границу с большими опасностями. В моем лице он видел, якобы, очень сурового и сердитого, но осторожного и смелого проводника.

Второй был музыкант, с балалайкой или с каким-то другим инструментом в футляре. Его я пугать не стал. Музыканты народ впечатлительный!

Очень опасным считался Радкевич, бывший гвардейский офицер, лет сорока, наверное. Мне он запомнился куда более сильным и коварным врагом, чем показан в романе Л. В. Никулина «Мертвая зыбь» и кинофильме «Операция «Трест». Физически сильный, расчетливый и очень смелый. Особенно трудно было мне с ним на остановках в лесу, в ожидании прихода поезда. Смотрит, бывало, прямо в глаза и вопросы ставит прямо. И ждет ответа прямого. Такого не отвлечешь призраками опасности и дурачка с ним не поваляешь!

Радкевич выпивал. Был часто пьян. Это действовало и на пользу мне, и против меня тоже. Настороженность его в таком состоянии ослабевала, но росла порывистость действий и шумливость. А они усиливали опасность. Черт его знает, что взбредет в голову пьяному человеку! В особенности ему, не отличавшемуся большой уравновешенностью и в трезвом-то состоянии! Словом, тяжелый для меня человек встретился, тяжелый и очень опасный!

Вот Вознесенский меня особенно не пугал. Конечно, всякий вооруженный враг опасен. Но этот не так опасен, как Радкевич. Его, кажется, мы именовали «Вечным Студентом». Впрочем, может быть и не его…

Двух человек — А. А. Якушева и Захарченко-Шульц — выделяю особо. В моей памяти эти столь различные люди закрепились наиболее четко. Не претендую на абсолютную точность их характеристик, но менять своих суждений о них тоже не могу.

В одной из моих бесед с Л. В. Никулиным, автором замечательного, предельно документального произведения «Мертвая зыбь», я упрекал его за образ А. А. Якушева. Точнее, за то место, где показан Якушев в поединке руководства нашей Госбезопасности с объединенными силами реакции. И Лев Вениаминович сказал, что в создании образа Якушева он уступил советам и просьбам товарищей, фамилий которых он не назвал. По этим настояниям он выставил Якушева на передний план, и это привело к нарушениям масштабов. Он заверил меня, что при

экранизации «Мертвой зыби» не допустит повторения этой ошибки. Он сказал, что предупредил «Мосфильм» и сценариста А. Я. Юровского: если его требование «показать Якушева в общей шеренге» не будет учтено, он — Никулин — снимет свою подпись и запретит ссылки на свое произведение. Не совсем уверен, но кажется, что при этом разговоре присутствовал и Александр Юровский. Впрочем, возможно, Он приехал уже позже.

Лев Вениаминович просил представить ему «моего» Якушева, и я рассказал примерно следующее.

Якушев — личность трагическая, находился между молотом и наковальней. Человек, ищущий своего места в схватке великих сил и постепенно все больше и решительнее переходящий на позиции Советов. Но большевистские взгляды он едва ли разделял. Единственным побуждением, заставившим его признать Советскую власть, было стремление не порывать связей с дорогой ему Россией, желание служить ее интересам. Тогда я добавил, что такое заключение вывел из моих бесед с Якушевым, когда еще не знал, что он является секретным сотрудником Госбезопасности, и он, по-видимому, не знал моей роли. Лев Вениаминович согласился с такой оценкой Якушева, по крайней мере, не возражал.

Якушев не один проникал в тайны контрреволюционной организации, и не только он «разговаривал с русским монархическим руководством». И он великолепно понимал силу и возможности чекистов, хотя бы таких, как Артузов, Стырне и Пилляр. Знал он, что есть еще Потапов, Ланговой, Берг, Власов. И не только они!

Великолепный, талантливый артист И. О. Горбачев, создавая свой превосходный образ Якушева, — образ верный и понравившийся телезрителям, — еще больше увеличил разрыв между ним и теми участниками операции «Трест», которые или вовсе потерялись в сценарии, или только обозначены. Это же относится и к воплощению образов таких выдающихся чекистов, как Стырне, Пилляр, Артузов, «создавших» Якушева и руководивших им внимательно, бережно и властно.

Впрочем, я признателен Игорю Олеговичу за то, что его Якушев только одной сказанной им фразой — «Аресты были?» — уже сохранял «моего» Якушева.

Познакомили меня с Якушевым довольно своеобразно. Я уже знал его, как «опаснейшего и умного врага», но настоящее знакомство мое с ним состоялось в кабинете Мессинга. Станислав Адамович был один. Правда, у самых дверей кто-то сидел с газетой, но я не обратил внимания-кто. Впереди, за столом, я увидел моего начальника, самого Мессинга, и, разумеется,

обратился к нему.

— Расскажите, Вяхя, что за человек, которого вы утром доставили из Финляндии? — спросил Станислав Адамович.

— Он уже проходил, — ответил я. — Лет под пятьдесят ему. Вежливый очень и внимательный. Ничего не спрашивает и, по-видимому, переходов через границу не боится. За моими действиями не следил. Задумчивый какой-то…

— Водкой от него не попахивало?

— Слабый запах был. Но пьяным я бы его не назвал.

— Как по-вашему, не разгадал он вашей роли?

— Не думаю. Я бы заметил беспокойство. Все было очень правдоподобно сделано.

Едва только я ответил на вопросы Мессинга, как слышу, кто-то за моей спиной складывает газету, и у стола появляется этот «опаснейший и умный враг» — Якушев! Было вначале неловко. Потом посмеялись. Якушев сказал, что моя информация верна, добавить он ничего не имеет. Все поставлено солидно и правдоподобно.

Захарченко-Шульц, в те годы обычно Шульц-Стешинская, в моем понимании осталась несколько иной — ниже, чем ее образ, созданный потом Л. В. Никулиным в «Мертвой зыби», и уже совсем иная, чем в телевизионном фильме «Операция «Трест». В связи с этим вспоминаются слова Льва Вениаминовича Никулина:

— Приехал ко кое один знакомый, бывший эмигрант. Он атаковал меня за образ Захарченко-Шульц. «Как могли вы показать Марию Владиславовну такой? Она у вас и двух мужей имела! И это пишете вы, серьезный писатель! Она ошибалась, но была святой женщиной, великой патриоткой. Такой ее знает весь западный мир».

На мой вопрос: «Не сказали ли вы, Лев Вениаминович, тому приятелю, что она себя еще и за Вознесенскую выдавала?», Никулин со свойственной ему добротой и мягкой иронией ответил: «Не стал расстраивать. Никакого смысла…»

В итоге создалась целая галерея образов Шульц, от женщины с ожерельем на шее до психички, не расстающейся с манящей ее веревкой. Вот мое представление, сложившееся в результате многих встреч с нею, моего миропонимания и рассказов моих руководителей.

Патриотка России, она вступила в гвардейскую кавалерию царя и на фронтах первой мировой войны заслужила, — какими подвигами, уж не знаю, — четыре «Георгия». Потом она — ротмистр белой армии по части карательной. Бегство из страны. Патриотизм улетучился, стерся под могущественными жерновами истории, и стала Шульц падать все ниже и ниже, превратилась в

садистку, наслаждающуюся страданиями всех этих пролетариев и мужиков, захвативших Россию, Россию ее дяди и монарха. Теперь она уже не жалеет музейных ценностей. Какое значение они имеют? Наплевать на них! Веревок, виселиц, взрывчатки, крови ей надо!

Шульц — женщина средних лет. Хорошо сложенная, с красивым лицом, только немного зеленоватого оттенка. Одевалась со вкусом, но скромно, под сельского врача. И саквояж в руке носила маленький, рыжий, как у врачей тех лет. И инструменты в нем. Но не медицинские, а те, которыми отправляют на тот свет. Таких «инструментов» у нее всегда было много. Малюсенькие — в руке, под перчаткой. Покрупнее — в кармане пальто и совсем внушительное оружие-в саквояже. Не скрывала их. Бравировала: «Холоп! Не балуй!» Трудно было с ней, тяжело очень. Переходила границу часто. Предупреждали меня: «Садистка, умная и храбрая. Стреляет при возникновении малейших сомнений. На местности ориентируется отлично. Не боится пеших переходов, водных преград и холода. Внушайте ей доверие к себе. Осторожно только, очень осторожно! Уничтожить ее нельзя. Пока нельзя. Нужна она нам. Потерпите! Придет время, и мы ее накажем. Строго придерживайтесь избранного вами образа поведения — молчаливый, медлительный и упрямый финн. Угодливый холоп на финской территории. На нашей — тут вы свою шкуру спасаете — превращаетесь в еще более молчаливого, угрюмого и властного».

Так со всеми. С ней еще более строго.

Доставляя ее от границы к станции, местами еду по обочинам дороги, шагом только — «опасно тут!» Запрещаю курить и разговаривать. Холоп я, но, спасая свою шкуру, показываю зубы. Тут я отвечаю, тут я решаю и подтверждаю это действием. Слезаю, например, с подводы и веду коня в лес. На тревожные вопросы: «В чем дело? Что случилось?» — не отвечаю. Неторопливо привязываю коня, отпускаю чересседельник и уже после, как бы неохотно, говорю: «Рано». Через минуту-другую поясняю: «До поезда четыре часа. Ждать надо». Взведенный маузер держу в руке или на коленях. Другим браться за оружие запрещаю. «Вам сидеть — я действую».

Трудно было со всеми. С Захарченко-Шульц — в особенности. Примешь, бывало, ее с наступлением темноты, а езды не более часа. Значит, надо много часов провести с ней в лесу, и часов очень трудных. Проверяла всегда, всегда внезапно и каждый раз по-новому:

— Вам подарок от наших друзей. — И подает портсигар. Большой, красивый. Из толстой рыжей кожи, отделанный

золотом — Нравится?

— Красивый! Дорогой, — говорю, — наверно. — И возвращаю.

— Вам в подарок…

— Ненадолго.

— Не поняла. Что — ненадолго?

— Меня, говорю, хватит ненадолго. Где бы я такие вещи мог достать? Думать надо!

Ей ничего не оставалось, как согласиться:

— Да! Не учли мы этого. Эх, как хорошо, что вы это учли!

Если бы я взял «подарок», сразу бы выдал себя, показал бы, что не боюсь разоблачений. Стало быть, не холоп, а сотрудник ЧК.

О моем поведении думали и решали не одни мои зарубежные «друзья». Думал Станислав Адамович, думал Владимир Андреевич. «Жадность к деньгам показывайте, но никогда ничего не берите. Даже спичек не берите! Пусть на ваше имя в зарубежный банк вкладывают, как можно больше в банк! Чтобы там вам иметь капитал, куда вы за деньгами никогда не пойдете».

Как-то во время переезда на станции опрокинулись наши санки. Маленькие они были, старинные. Господин или госпожа сидели впереди, а ездовой сзади, на продольной дощечке. Вылетели мы в сугроб, Захарченко и я. Посмеялись и поехали дальше. В лесу ожидали наступления темноты, сидели часа два. Она тихо вела беседу, я отвечал на самые неожиданные вопросы. Словом, все как обычно, в норме. Потом по дозорным тропам пробрались к контрольной полосе, а по ней в сторонку метров сто и дальше, в центр можжевельника — к границе. Тут она была молодцом, лишнего следа не оставит! И вдруг, на самой границе, опять неожиданность:

— Назад поедем. Вы сани опрокинули, и мой пистолет из кармана выпал. Поедем искать. Найти надо! — настаивает Захарченко.

— Назад не повезу! Пограничная полоса не для прогулок, — отвечаю я. Понимаю: не дура, чтобы пистолетами разбрасываться, да и сама назад не поедет. Очередная проверка, не более.

Она настаивала и грозила. Сдалась только после моего категорического заявления о том, что брошу все и убегу в Финляндию. Я не скрывал от нее, что боюсь ее, как провокатора, и если что — удеру в Финляндию. Уже потом, через некоторое время из Москвы сообщили: Захарченко-Шульц писала из Парижа, что «основательно проверила «окно». Все там хорошо. Оно в руках осторожного и упрямого человека».

Последний раз через мое «окно» она прошла за два-три дня

до перехода к нам С. Дж. Рейли. Не просто прошла-еще раз проверила. За день или за два до этого в Финляндию проследовал Радкевич. Тоже проверял, конечно. «Окно» выдержало эти проверки. И еще бы не выдержать! Оно было результатом усилий таких выдающихся чекистов, как Мессинг, Стырне и Артузов!

Со слов Стырне и Артузова мне удалось проследить до конца жизненный путь Марии Владиславовны Захарченко-Шульц-Стешинской-Вознесенской. Фамилию ее, из-за чрезмерной многоступенчатости, Артузов сократил наполовину, даже больше.

Ее столь нашумевшая попытка взорвать здание ОГПУ на Лубянской площади в Москве, о которой «даже в газетах писали», была только мистификацией. Хорошо разыгранной, безопасной и, можно полагать, унизительной для ее самолюбия. И тут, в который уже раз, она шла на поводке.

Гибель ее лишена романтики. Рядовая, как у всех активистов службы БС — бендеровцев. Она и принадлежала к ним, по крайней мере, духовно.

Гонялся и я за ней в эти последние ее дни. Моя группа ожидала ее в районе Нового Поля, у западного «окна». Не дошла она до нас. Зирнис перехватил.

Мое понимание Захарченко-Шульц — всего лишь одно из многих и различных суждений о ней. Впрочем, я и не претендую на его непогрешимость.

НАДО ДЕРЖАТЬСЯ

Прошел год, потом еще полгода, и я предельно устал от этих своих обязанностей. А тут и малярией успел заболеть, да еще в очень тяжелой форме. Времени для госпитального лечения выделить мне не могли. «Надо держаться, как-нибудь держаться», — внушали мне руководители. — «Не работайте на заставе — пусть работает помощник. Пусть там не будет большого порядка, но все равно не работайте. Запретим всякие проверки», — говорил Мессинг.

Но работа на заставе — это тот сучок, на котором я сижу, — внушал я себе. Глотал хинин по 10—12 порошков в день и тянул лямку. Нависли и другие опасности.

Однажды комендант Кольцов сообщил:

— Бомов что-то подозревает. На твою заставу все просится. Он говорил, что за тобой надо следить. Часто, мол, в Ленинград отлучается, даже разрешения не спрашивает.

— Ты что ему сказал? — спросил я.

— Оборвал его. Грубо оборвал. Сказал, что к зубному врачу ты ездишь и всегда с моего разрешения. Рекомендовал ему заниматься своими делами и не вмешиваться в чужие. Самолюбивый он очень. Обиделся, но молчать пока будет…

— Молчать будет, но слежку усиливает. Хочет накрыть сам.

— Да, трудно с ним, — согласился Кольцов.

Пришлось доложить Мессингу. Тут же был кто-то из центрального аппарата. Подписку о молчании отклонили. Нельзя вводить в дело лишних людей, даже наших. Да и не успокоишь его подпиской! Хитер очень и упорный. Писать будет. А перевод его на другой участок невозможен. В годах он, не поедет. Если уволим, он — местный житель и охотник — еще больше времени будет иметь для слежки. Мессинг принял такое решение:

> «По требованию Вяхя держать Бомова на участке фланговой Каллиловской заставы без права выезда столько дней, сколько будет нужно. Болтовню его обрывать».

Много дней и ночей ты, Бомов, по моей вине сидел в лесах Каллилово. Все осложнения там были выдуманы Кольцовым и Паэгле, чтобы не мешал. Так надо было!

Тебе стало труднее. Мне не стало легче. Это было безопасней для тебя и безопаснее для меня. И еще безопасней для интересов страны.

Поздно вечером я встретил на станции Захарченко-Шульц и ночью перебросил ее в Финляндию. Границу она переходила уже за полночь. Это и была моя последняя встреча с ней.

Рано утром следующего дня я ликвидировал следы перехода границы и собирался отдохнуть, но тут поступила телефонограмма, запутанная, как всегда: ясно, опять вызывали к Мессингу.

На этот раз у Мессинга было необычно людно. Незнакомые лица, некоторые — в штатской одежде. Одного я узнал — Владимир Андреевич Стырне, светловолосый, широкоплечий, по внешности видно — латыш. Я понял, что они уже посовещались. При мне говорили только о моей работе. Меня спросили:

— Бабу эту… благополучно переправили? Как она себя вела?

— Около часу ночи она перешла границу, — ответил я. — Жаловалась, что воды много и холодная. Разделась, и ее одежду пришлось перенести мне. Саквояжа не доверила. Сама в руке держала. В поведении ее ничего особенного не заметил…

— Она вас специально проверяла. Для этого и ехала.

— Ничего не заметил. Мы мало и разговаривали. Только часовая остановка и была у нас.

— Что вы знаете о Савинкове? — обратился ко мне Мессинг.

— Только то, что было в газетах. Еще книгу читал — «Суд над Савинковым»…

— О вашей работе знает Феликс Эдмундович и высоко оценивает. Вы сильно устали? — взглянул мне в лицо Станислав Адамович.

— Очень. И болею еще.

— Будут напряженнейшие дни, — предупредил Мессинг. — Сегодня надо переправить «Графа», вернется он оттуда завтра. За ним, через сутки — точнее время сообщит вам «Граф» — надо принять одного господина. Для нас тот господин в сотни раз важнее Савинкова! На какую станцию, по-вашему, лучше его доставить? Мы намечали Песочную.

Мне выбор не понравился, и я ответил:

— Лучше бы, наверно, в Парголово, туда хорошая лесная дорога, и по ночам по ней никто не ездит. А в Песочную я боюсь. Близко очень. Там всегда по утрам местных жителей много. Разговоры пойдут…

— Ну что ж, давайте в Парголово, — согласился Мессинг. — А теперь слушайте внимательно. Этого господина от самой границы и до вагона никто не должен видеть. Охрана там будет снята на всю глубину. Милицию тоже снимем. Дорога станет свободной. Остальное полностью ложится на вас. Напоминаю еще

раз: никакие случайности не могут иметь места! Никакие! Если этот господин будет в пути кем бы то ни было убит или если он сбежит — вас постигнет самая суровая кара, Как крайнюю меру самообороны, разрешаем вам нанести ему лишь ножевые раны, только не смертельные Но и это лишь в том случае, если никакого иного выхода не останется. Вы все хорошо поняли?

— Понял.

— Не исключено, что этот господин поедет еще и обратно. Поэтому очень важно, чтобы он не понял вашей настоящей роли. Покажите ему настороженность, элементы угрожающей вам опасности. Только не переиграйте! Он очень опытен и коварен.

Потом показали мне двух чекистов в штатской одежде:

— Посмотрите внимательно, чтобы после узнать. Этим товарищам, и больше никому, передадите того господина в тамбуре четвертого вагона первого утреннего поезда. Все ли ясно?

— Да, все.

— Не забудьте: сегодня «Граф» туда и через сутки обратно. Он покажет место перехода к нам того важного господина. Предложите место сами, и он там согласует с финнами.

Переброска Якушева, хорошо знакомого нашего человека, в Финляндию и обратно не требовала особых усилий. Нужны были только опять две бессонные ночи.

Чтобы избежать каких-либо случайностей, я сделал все, что мог. Пограничников, всех, кроме одного и дежурного по заставе, а также вечно сонного своего помощника, рассовал по флангам. И всех — в засаду. С точки зрения пограничной службы это было глупо, но имело для меня решающее значение. Что бы ни случилось, засада не снимается, и никто мешать операции не может. Помощнику своему я дал особое, хотя и вовсе ненужное, задание: «Никуда не отлучайтесь! Сидите у телефона. Обстановка не совсем ясная. Буду у коменданта. Если что понадобится изменить — позвоню. Если на границе что случится, сами мер не принимайте. Позвоните в Белоостров. Поищут меня и там найдут. В крайнем случае, звоните Кольцову».

Знал я, что у телефона он сидеть не будет. Поужинает, один раз сон преодолеет, а потом уснет, работяга.

Еще раз я проверил повозку и упряжь и с наступлением темноты, около 11 часов вечера, подал лошадь почти к самой реке. Вскоре на финском берегу увидел силуэты людей Человека четыре или пять их было. Появились со стороны развалин бывшей таможни. Возможно, они там, пока было видно, ожидали и следили за тем, что происходит на нашей территории.

После обычного ознакомления — те ли они, и тот ли я? —

отвечаю на несколько вопросов, заданных мне на финском языке:

— Все ли готово?

— Все.

— Как охрана?

— По флангам рассовал. Никого нет.

— Лошадь есть?

— Тут, на берегу. Хорошая. Давайте скорее!

На какое-то время все умолкло. Возможно, тот господин раздевался. Потом уже слышу на русском языке: «Иду!»

Улавливаю осторожные шаги к воде. Да, не Радкевич, совсем не Радкевич.

Накануне шли обильные дожди, вода поднялась почти до плеч и была уже холодная. Опасаясь, как бы этот господин не струсил и не повернул обратно (может и упасть на скользких камнях, еще утонет!), я бросился ему навстречу. В одежде, только шинель скинул. Взвалил себе на плечи этого гостя и перетащил на наш берег. Голенький, он был, в одних трусиках, одежду завернул в пальто и держал над головой. Рослый и довольно тяжелый дядя. Но ничего, осилил. «Мой ты теперь, мой!» Тут возникло неожиданное осложнение. Финны настойчиво требовали, чтобы я подошел к их берегу. «На несколько слов», как они оказали. Разумных и убедительных причин для отказа у меня не было. Но, с другой стороны, я не мог и рисковать: если моя игра разгадана, то меня там прикончат или задержат на несколько минут, а тем временем этот господин поедет на моей лошади с другим ездовым, перешедшим границу где-то рядом. Нет, переходить к ним я сейчас не имел права и отказывался: «Мокрый я и холодно». Финны продолжали настаивать, и угроза серьезных осложнений нависала все больше. Выручил гость. Узнав от меня, в чем дело, он что-то сказал финнам на непонятном мне языке, и они умолкли.

Садясь в повозку, я вынул из кобуры маузер и положил на колени. Так я всегда делал, чтобы продемонстрировать напряженность обстановки и мою настороженность. Гость тоже стал вытаскивать пистолет из внутреннего кармана. Сердитым шипением я остановил его:

— Не смейте! Вам сидеть — я действую!

Послушался. Я был вооружен отлично. Взведенный маузер на коленях, «вальтер» под гимнастеркой, а в голенище сапога — нож. Оружие не потребовалось. К нам никто не подходил, и гость враждебных намерений ко мне не проявлял. Он остро и зло издевался над нашими дорогами. И я его поддерживал в этом, слегка только. В моей роли меня интересовали только деньги. Переигрывать не следовало.

Он острил и обещал кому-то, как будто Мак-Манусу в Лондоне, рассказать, какие в России дороги. «В Лондоне? А будешь ли ты еще в Лондоне?»

Перед мостом через Черную речку я решил показать мою настороженность. Остановил коня в кустах и вышел вперед, якобы для проверки, нет ли у моста засады пограничников. Гостю сказал, чтобы никуда не отлучался. Знал я, что на мосту никого нет, но этот мост я точно таким же образом всегда проверял, когда вез врагов. Шульц наверняка виделась с этим человеком в Финляндии и, рассказывая о пути, конечно, не упускала такой немаловажной детали. Значит, надо делать все так, как ему рассказывали, как он себе это представляет. Все до мельчайших подробностей. Иначе вызовешь излишнюю настороженность, и может быть провал.

Устал я очень. Вначале переправлял в Финляндию Шульц, после — Якушева туда и обратно. Теперь еще и этот господин. И все по ночам. К тому же еще и обязанности начальника заставы надо было выполнять. На сон времени не оставалось. Вот я и решил не загружать себя лишней работой, а только постоять в кустах, вернуться и сказать: «Проверил, все в порядке!» Но тут вспомнился урок, полученный мною в лыжном отряде, и я упрекнул себя: «Что, повторения тебе захотелось? Пойдешь, все сделаешь». И пошел, и сделал. Все основательно обследовал, под мост слазил, и это спасло от беды, может быть, непоправимой. Когда вернулся к подводе, то не нашел в ней моего пассажира. Он исчез! Я был и потрясен и напуган: «Разиня, из собственных рук выпустил!» Но тут, и тоже со стороны моста, появился этот господин. Оказывается, он шел по моим следам и проверял, что я делаю на мосту. Да шел так, что я не заметил его. Хорош же я пограничник, да еще с претензиями на звание чекиста!

В лесу, чтобы согласовать наш приезд на станцию с приходом туда поезда, мы делали остановку на четыре-пять часов. Состоялся легкий, полушутливый разговор. Говорил больше он. Я выжимал воду из одежды, выливал ее из огромных болотных сапог и следил за конем.

Коня я оставил в небольшом леске, вблизи от станции, а сам отправился за билетом, надеясь, что мой пассажир не осмелится выйти из лесу, пока я хожу. Так и получилось. Он только отошел в сторону от коня и лег в кустах.

Подошел поезд, первый утренний, и пассажиров было мало. В тамбуре четвертого вагона я передал «гостя» тем двум чекистам, с которыми меня познакомили в кабинете Мессинга. Дело сделано!

При прощальном рукопожатии «гость» ловко и почти незаметно всунул в мою руку какую-то бумажку. Денег я никогда

ранее не получал. Была же договоренность, что все деньги, которые я заработаю переброской через границу, поступят на мое имя в финляндский банк. Это — чтобы укрепить веру в моей продажности. Ведь в их понимании любой человек за своими деньгами непременно придет, даже из другой страны. Тяга к деньгам поэтому была логична и для меня, продавшегося за них холопа. О «чаевых» же я представления не имел. Ни малейшего. Поэтому полагал, что этот господин всунул мне в руку какую-то записку, возможно очень важную и срочную, и умышленно сделал это так, чтобы никто из присутствующих ее не заметил. Мимоходом скажу, что в числе принимающих от меня этого господина не было ни Якушева, ни Радкевича. Принимали его, как я уже сказал, чекисты, показанные мне Мессингом.

После отхода поезда я побежал, к фонарю, чтобы прочесть таинственную, как я полагал, записку, и был немало озадачен, когда обнаружил, что мне всунули три червонца. Никаких записей или проколов на них я не обнаружил.

По телефону, как было условлено, я через контрольно-пропускной пункт вызвал тот ленинградский номер, по которому обычно докладывал о выполнении задания. К телефону подошел Салынь, и я доложил: «Груз сдал», что означало: «гость» в пути, не убит и не сбежал. Далее: «Упаковка целая», — значит ножом не колол, и наконец: «Печать не повреждена», — моей роли «гость» не разгадал. За сдачу груза Салынь поблагодарил, а насчет денег сказал просто: «На чай ты получил, понял?» Намеками Салынь дал понять, что сейчас обратное движение такого же груза становится еще более вероятным.

Вспомнилась библейская легенда, знакомая с детских лет. За Христа тоже тридцатку дали! Серебром. Мне — червонцами. Если сумма денег была намеком, то этот господин ошибся. Я никого не продавал, а боролся с врагом тем оружием, которое выбрал он сам, враг. Я еще не знал, кто этот «гость», но у меня было радостное — ощущение удачи.

Усталость моя, по-видимому, была предельной. Держался на ногах только напряжением всех сил, и со мной случилось то, чего еще никогда не бывало, — уснул в пути и проснулся лишь у конюшни. Не сам проснулся, хозяин поднял. Застава своей конюшни не имела, и моя лошадь стояла у этого крестьянина. И хорошо, что она там стояла! Крестьянина, видимо, убедило мое бормотание: «Выпили ночью, уснул». На заставе бы начались разговоры…

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

Спустя пять-шесть дней я опять был у Мессинга. В последний раз. Людей тут оказалось много. Присутствовал Симанайтис, заместитель начальника отряда. Паэгле, — это я уже знал, — в те дни болел. Из Москвы, вспоминается, были Пилляр и еще несколько чекистов. Все они, москвичи, в штатской одежде.

Меня встретили приветливо, но в их поведении улавливалась какая-то настораживающая мягкость, какая-то особенная доброта, может быть, сочувствие. Говорил Мессинг. Иногда вмешивался в разговор энергичный и порывистый Пилляр.

Мессинг вначале сказал, что Феликс Эдмундович Дзержинский благодарит меня именем революции и что решен вопрос о моем награждении орденом Красного Знамени — единственной в те годы высшей правительственной наградой. Я, разумеется, был сильно взволнован такой высокой оценкой моей работы и, конечно, благодарен, но чувство настороженности не исчезало. Почему здесь так много чекистов? Что они решали без меня? И почему здесь присутствует Симанайтис?

Потом мне объяснили, что последний «гость», которого я доставил, это Сидней Джордж Рейли — начальник восточноевропейского отдела разведки Великобритании, личное доверенное лицо злейшего врага нашей страны Уинстона Черчилля и других активных антисоветских сил в западном мире. В его руках — все нити антисоветских планов заговоров и комбинаций, и все это он нам выложит. Важно только, чтобы англичане не помешали нам довести следствие до конца. А помешать они могут. Надо помнить хотя бы «ноту Керзона» и высказанные в ней угрозы. Потеря Рейли для них — горькая пилюля, но главное все же в ином — в том, чтобы доверенные ему тайны не стали нашим достоянием. Надо убедительно доказать английской разведке, что Рейли умер, что эти тайны ушли с ним в могилу. В интересах следствия также надо показать и самому Рейли его собственную смерть. Вот мы и решили на границе, в пределах видимости с финской стороны, именно в то время и там, где финны ждут возвращения Рейли от нас, разыграть его фиктивное убийство.

Меня спросили, где, по моему мнению, лучше всего устроить эту сцену? Я предложил небольшую открытую поляну между центром селения Алакуль и линией границы, до которой еще остается метров 50—100 открытого пространства. Финны, рассчитывал я, услышат голоса и увидят вспышки выстрелов, но выйти на выручку Рейли из-за дальности расстояния не

осмелятся. Мое предложение приняли.

Потом меня познакомили с одним из москвичей, высоким, как Рейли, стройным и худощавым. Во всем он был похож на Рейли, разве только помоложе годами, «Вот этого товарища повезете, — сказали мне и предупредили: — Все должно быть, как всегда! Точно, как всегда. На границе вас встретят чекисты и там разыграют сцену «убийства» этого товарища. Руководить операцией будет Шаров».

С этого времени началось очень тяжелое для меня испытание. Чтобы придать убийству Рейли больше убедительности, потребовался еще и мой арест. Фиктивный, конечно, но — арест! Значит, первому эту пилюлю всунули в рот мне! Не сладкая пилюля, горькая. Проглотил я ее: сажайте! Просил только, чтобы меня, арестованного, не показывали моим товарищам, знакомым и подчиненным. Мессинг умолк. Он ничего не сказал. Не хотел, по-видимому, Станислав Адамович высказать мне этой тяжелой необходимости. Не хотел и обмануть. Остальные же торопливо и почти в один голос заверили: «Ну, конечно, зачем же»…

Понимал я, что все-таки покажут, всем покажут. Фиктивный арест не может быть тайным. Фиктивный арест — показной, он и делается, «с широким показом».

«Убийство» Рейли разыграли как по нотам. В условленном месте меня с двойником Рейли встретила группа чекистов во главе с Шаровым. Покричали мы тут, поругались на трех языках — на русском, финском и английском. Постреляли поверх голов друг друга. Потом «Рейли» слег на обочине. Землю около его головы обрызгали кровью, запасенной Шаровым, а мне связали руки. Тут же на выстрелы прибежал председатель местного сельсовета, молодой парень, коммунист, толковый человек и добрый товарищ: «Не нужна ли помощь актива?»

Шаров поблагодарил его за быструю явку, похвалил. «Помощи пока не надо, — сказал он. — Вот этого мерзавца, — и на меня указал пальцем, — мы захватили, а вот того, на обочине, — прикончили. Только уж вы никому об этом ни слова — секрет!» Не в шутку напуганный председателя удалился довольно резво. Шаров был в добром настроении: «Логически рассуждая, он еще до утра по всему поселку раззвонит. Как пить дать, раззвонит». Я большой радости не ощущал. Поругивал эту самую логику.

Подали машину Шарова. Вместительную старую развалину «бьюик»; разворачиваясь, она фарами осветила и меня, стоявшего со связанными руками, и «покойника» на обочине. Его подняли за руки и за ноги, втиснули в машину. Длинный он был, не уместился, ноги остались висеть на подножке. Меня взяли за

воротник и тоже в машину, и — довольно энергично. Кобуру моего мазера оставили в кустах около дороги: приметная, узнают ее местные жителя, и особенно пограничники!

Машина пошла. Не в Ленинград прямо, как я еще надеялся. Остановилась в Белоострове, в управлении пограничной комендатуры. Меня повели на второй этаж, легкими толчками ускоряя шаг. «Покойник» остался в машине с торчащими на подножке ногами.

В помещении комендатуры, якобы на какое-то совещание, важное и срочное, собрались почти все командиры пограничного участка. Меня выставили здесь со связанными руками в роли пойманного предателя. Трудно было пережить эти минуты. Мне тогда показалось, что более тяжкого уже ничего не может быть в жизни.

Как хотел я обнять этих столь дорогих мне людей и сказать: «Не верьте, товарищи! Я для вас всегда был верным другом. Вас спасал, страну нашу, и в этой борьбе не жалел ни сил, ни самой жизни». Но этого сказать нельзя было, и я плакал, просил пощады и наговаривал на себя всякие пакости. Ты помнишь, товарищ, этот вечер? Я его не забыл…

Недолго меня тут «допрашивали». Кричали больше. Потом выехали в Ленинград. «Покойник» поднялся и давай ругаться: «По мне сапогами ходили и нос разбили». Нос его действительно вырос размерами и куда-то вбок глядел. Мне развязали руки. Я сидел молча. Видимых повреждений не имел…

В пути, в районе Новой Деревни, меня одели в штатскую одежду и дали какой-то паспорт. Липу, наверное. Поместили в гостинице Европейской и тут же прочли наставление: «Кормить и поить будем. Из номера не высовываться и без нашего звонка никому дверей не открывать. Все ясно?»

Да, более чем ясно.

Номер в гостинице великолепный. Со всеми удобствами, с ванной. Достаточно еды и питья вдоволь. Ночь уже была на исходу. Но не спалось, и я еще не прикоснулся к еде. Только тут стал понимать, насколько горька та пилюля… Завтра, даже сегодня утром у меня не будет никакого прошлого. Никаких друзей не будет. Никаких знакомых. Если кто и вспомнит меня, так с проклятием. Я любил людей, верил в людей. И они любили меня и верили мне. А тут одним ударом все разрушено. Навсегда все забыто…

Утром раздался звонок. Говорил Салынь: «Никуда не выходите, никуда! Не открывайте дверей! К вам сейчас придет товарищ и все расскажет». Тут он и явился. Помнится, это приходил Борисов. Несколько раз я видел его мимоходом и знал:

он один из старших сотрудников полпредства. Сказал, что явился ко мне по поручению Станислава Адамовича: «Есть предположение, что из Финляндии прорвался к нам ваш старый знакомый Радкевич. Их волнует судьба Рейли, но ищут вас. Понимают, что Рейли найти трудно — он в больнице или в могиле. Но если вы на свободе, значит, у них еще не все нити к Рейли оборваны. Отсюда требование: «Из комнаты никуда не отлучаться. Дверей не открывать. Ночным поездом поедете в Москву».

— Что передать Станиславу Адамовичу? — спросил он меня перед уходом.

— Скажите, что я все понял.

В этой гостинице провел я двое суток, в ночь на третьи меня отправили в Москву. Посадили в поезд на товарной станции, там, где сейчас пригородные кассы. Посадка еще не начиналась, и меня всунули в отдельное двухместное купе, у входа в вагон. В этих купе обычно фельдъегеря с почтой путешествовали. И тоже предупредили: «Из купе не выходить. Еда и питье у вас есть». Поезда ходили медленно. Из Петрограда до Москвы почти сутки езды. Как тут из купе не выйдешь?!

Первым в Москве я встретил Владимира Андреевича Стырне, того чудесного чекиста-ювелира, которого Л. В. Никулин в своей книге «Мертвая зыбь» показал под двумя фамилиями — Старова и Козлова. Много внимания мне уделил незабвенный Артур Христианович Артузов, чекист с большой буквы. Я встретился и с другими крупными работниками центрального аппарата ОГПУ того времени, в частности с Пилляром, Кацнельсоном — начальником главного управления пограничной охраны и был представлен В. Р. Менжинскому. Разговаривал со мной и Медведь, член коллегии, полномочный представитель по Дальнему Востоку.

Стырне и Артузов мне рассказывали, как вел себя С. Дж. Рейли до ареста и в первые дни заключения.

В Ленинграде его встретил Стырне. Представился Козловым, активным монархистом, с большими связями и возможностями в советской среде. Этот Козлов чрезвычайно понравился Рейли убежденностью и широкой эрудицией. И мое «окно» Рейли понравилось — «близко, удобно и безопасно».

В Москве Рейли встречался со многими «активными деятелями белого подполья». Даже два совещания с ними провел. Учил и наставлял их. Ему и в голову не приходило, что разговаривал-то он не со «своими», а преимущественно с руководящими работниками центрального аппарата ОГПУ, в том числе и с заместителем начальника Иностранного отдела

Владимиром Андреевичем Стырне. Можно утверждать, что столь унизительного поражения могущественная разведка Великобритании не знала за всю свою историю. И кто нанес этот не джентльменский удар? Те дилетанты, равных которым, по мнению Герберта Уэллса, мир не знал со времени раннего мусульманства. Прискорбный случай!

В первые часы после ареста Рейли обнаруживал завидное самообладание. Шутил даже: «И на старуху бывает…» Он твердо верил в силу Британской империи, которая, как полагал Рейли, не оставит его с доверенными ему тайнами во власти большевиков. Правящие круги Англии любыми способами будут спасать свои тайны. А тут и его, Рейли, спасение. Известие же о фиктивном убийстве, о собственной смерти, подавило Рейли. Такого «хода конем» он не ожидал. Рейли сдался и начал искать собственных путей к спасению. Был только один путь, и Рейли ухватился за него. Он выдал все тайны своих могущественных руководителей, злейших врагов нашей страны. Выдал все, все до конца. Сотрудничество свое предлагал на вечные времена. Наметки возвращения Рейли в Англию нашим агентом возникали. Иметь там такого агента — идея заманчивая. И он поработал бы на нас. Рейли уже понимал силу чекистов, их хватку. Такая возможность возникала, и потому я ждал «движения груза в обратном направлений».

С. Дж. Рейли знаком советским людям и по кинофильму «Заговор послов». Помнят, наверное, иностранного дипломата, вручавшего одному бородатому командиру миллион двести тысяч валютой для подкупа охраны Кремля? Деньги вручал С. Дж. Рейли, получателем был Берзин. Старшие товарищи помнят его — начальника административно-хозяйственных управлений органов госбезопасности.

Реакционные силы Запада, высоко оценивали силу и умение Рейли и тяжело переживали его гибель. Года два тому назад в Англии вышла книга Р. Брюсса-Локкарта, сына одного из главных организаторов реакционных заговоров, бывшего английского посла в России Р. Локкарта, решением нашего трибунала от 28 ноября 1918 года объявленного врагом трудящегося народа. Сын этого достопочтенного джентльмена свою книгу о Рейли назвал «Ас среди шпионов». Не без гордости он приводит слова покойного Флеминга о том, что даже его детище, вымышленный Джеймс Бонд — ничто по сравнению с реальным Сиднеем Рейли. В связи с выходом этой книги собственный корреспондент «Известий» в Лондоне М. Стуруа писал:

«Имелся разветвленный заговор

империалистических держав против молодого советского государства… Нити этого заговора тянулись за океан, опутывали Западную Европу и Балканы, свертывались клубком в кулуарах Версаля и расправлялись взрывной пружиной на улицах Москвы и Петрограда».

Да, Рейли имел что показать, и он все выложил. Его показания имели настолько большое государственное значение, что о них Ф. Э. Дзержинский незамедлительно сообщил Политбюро ЦК партии. Эти показания учитывались нами в течение ряда лет.

С «арестом» заканчивается мое участие в «Тресте». Я получил новую фамилию, новые служебные и партийные документы. Тойво Вяхя стал Иваном Петровым. В Ленинграде пустили слух, что меня, как предателя, расстреляли. Выплыл я в бухте Дюрсо на Черном море.

Получил и обещанный орден Красного Знамени. Орденов, по-видимому, еще было мало и номер моего — 1990. Приказ о награждении подписал Михаил Васильевич Фрунзе.

В процессе проверки партийных документов, — кажется, это было в 1934 году, — возник вопрос: почему я, финн, имею русскую фамилию? Выручили чекисты. Они удостоверили, что моя старая фамилия пока под запретом и новая узаконена. И еще любезность добавляли: «Человек очень преданный и очень храбрый».

Еще в течение нескольких лет В. А. Стырне и А. Х. Артузов не забывали меня. Проезжая через Москву, я изредка бывал у них. От них я узнал о поездке Шульгина по стране под опекой ОГПУ и дальнейшую судьбу деятелей белого подполья.

Много хорошего о деятельности Артузова я услышал от командарма I ранга Уборевича осенью 1936 года. На каком-то вечере после полевых учений Уборевич в разговоре со мной и полковником Шаховым рассказал, в частности, следующее. В Москве на совещании командующих ближайшими округами и руководящих командиров наркомата обороны выявилось, что немцы ввели в строй новый танк, какой-то из серии «Т». Этот танк, как говорили, обладал более высокими боевыми качествами, чем наши старые танки.

Сталин, руководивший совещанием, предложил начальнику разведуправления комкору Урицкому приобрести чертежи или хотя бы достоверное описание этого нового немецкого танка. Урицкий усомнился в возможности сделать это.

Вызвали А. Х. Артузова. У него было только два вопроса:

— Что требуется? Танк в натуре или только его чертежи? И

второй вопрос — сколько времени будет выделено на выполнение этого задания?

На ироническое замечание Сталина о том, что немцы — фашисты и хорошо оберегают свои тайны, Артузов ответил:

— Не совсем так, по-видимому. Немцы прежде всего капиталисты и как капиталисты — они фашисты. Какой же капиталист отказывается от выгодных торговых сделок?

Не устояли охранные меры немцев против Артузова! Вскоре, значительно раньше истечения срока, немецкий чудо-танк был осмотрен, испытан и… забракован.

— Не понимают немцы требований будущей войны, — говорил Уборевич. — Не таким должен быть танк будущего. Танк будущего — это наш танк и появится он скоро…

И у нас появились такие танки. Немцы хорошо помнят их удары. Но Артузов и Уборевич этого не увидели. Их мы не уберегли…

Однажды в Москве я встретил Паэгле, бывшего начальника Сестрорецкого пограничного отряда, работавшего уже в центральном аппарате. Только теперь от него я узнал о той буре, которую в пограничной среде вызвал мой «арест». Особенно яростно реагировал Бомов. У него, положим, для этого были основания — он предупреждал! Но мой вечно сонный помощник! Он тоже возмущался, на Кольцова наскакивал: «Я бы такого начальника поймал, но он был другом Кольцова. Что я мог. Они бы меня убили».

Для видимости Кольцова «наказали». Отстранили от должности и перевели в город Остров на эстонской границе, тоже комендантом участка. «Сняли» и Паэгле. Он был назначен начальником Особого отдела Балтийского флота.

Поговорили и посмеялись, но веселья я не ощущал. Не такие следы я хотел оставить в той дорогой мне среде… Неужели это действительно навсегда?

Но я ошибался. Не навсегда. Тридцать восемь лет на это понадобилось…

…Началось все с молодежной газеты «Калининградский комсомолец». Эта газета перепечатывала выдержки из отдельных глав романа-хроники Л. В. Никулина «Мертвая зыбь». Поскольку мне показалось, что некоторые эпизоды изложены автором не совсем точно — при общем несомненном знании существа дела, — я не выдержал и вмешался. А. Авдеев, редактор газеты, отозвался чрезвычайно тепло и дружески, и вскоре у меня завязалась переписка с Л. В. Никулиным, которая впоследствии превратилась в истинную дружбу. Лев Вениаминович жаловался, что хотя в его распоряжении были огромные архивные

материалы, он не знал многих деталей, известных мне.

Может быть, читатель найдет в моих записках некоторые из тех деталей, о которых говорил Никулин…

ИЛЬИНСКИЙ ПОСТ

Между документально проверенной действительностью и исторической правдой большая разница.

Лион Фейхтвангер

1

Незаметно пролетело время, и вот мы, выпускники Высшей пограничной школы, разъезжались по окраинам страны. Откуда кто на учебу прибывал — туда и направляли. Семиреченские, к примеру, опять на Тянь-Шань возвращались, а уссурийские или приамурские — на Дальний Восток. Многие на север поехали. Я в некотором роде старого места не имел, но бесхозным не оставили. На завод какой-то, в Забайкалье, направить собирались. Название того завода сразу толком не разобрал, а потом и вовсе забыл. В сущности, никакого значения оно и не имело. Узнаю, думалось, когда проездные выпишут и скажут:

— Ну, товарищ, пошевеливайся!

Служба на заводе привлекала меня. Я не удержался и похвастался:

— На завод меня… Туда на постоянно…

— На какой завод, Ваня?

— Забыл я его название. В Забайкалье он…

— Нерчинский?

— Точно! Так этот завод называется.

Хохот тут поднялся и посыпались шутки. Одни смеялись над моей неосведомленностью, а другие, как обычно, за компанию. Оказалось, что Нерчинском завода нет и не бывало. Пока еще только место так называется. Там тайга одна, глухомань и ничего более. Советы мне надавали самые верные. В особенности, чтобы второпях мимо того «завода» не проскочить:

— Следи, Ваня, и головой работай!

Мои товарищи, и провожая на поезд, еще посмеялись вдоволь:

— Не иначе, Ваня, как «рука» у тебя есть. Без «руки» ты бы такую благодать не схапал…

Поездом добрался до Сретенска на Шилке. Дальше поезда не ходили и автомашин там тоже не было. Своих мы выпускали еще мало, всего несколько сотен в год, как бы примериваясь, по плечу ли нам и такое производство. И, хотя шла оживленная внешняя торговля, наши золотые запасы и ограниченные экспортные возможности на приобретение автомобилей мы не разбазаривали. Другие мы машины покупали, такие, которые потом для нас будут выпускать всяческие машины, в том числе и автомобили. Умную мы вели экономическую политику. Может быть, и жесткую, но зрелую и дальновидную.

Пройдут годы, и потомки, наверное, нас кое за что осуждать

будут. Свой путь они неторопливо изберут и многие топи минуют. О нас скажут, возможно, как мы еще нередко говорим:

«Не понимали этого наши предки».

«Не учитывали они того»…

Потом скажут, может быть, как и мы нередко еще говорим:

«Где уж им было, при таком уровне науки и техники»…

Может быть, произойдет именно так или, может быть, совсем не так, но в одном уверен: за политику индустриализации похвалят. Тут нельзя не хвалить!

Автомашин в том краю тогда не было, и для переездов пользовались «обывательскими» подводами за наличные деньги. Командированным выдавались «подорожные». Старый это был порядок, но свои преимущества имел — отчетности меньше Выпишут в финансовом отделе положенные копейки на каждый километр колесного пути, и остальное уже — твое дело. Хоть пешком топай! За подорожные деньги отчет не требовался. Доверчивые были финансовые работники и наивные. Раз, рассуждали они, человек на месте и службу несет, стало быть, он прибыл. Ныне нипочем бы не поверили, и объяснение такое есть, весомое:

— Я тебя, мил товарищ, в дело не пришью.

И верно! Видано ли, чтоб живого человека в дело пришивали?

Расстояние было порядочное. Триста верст, говорили. Могли бы сказать и больше. Кто эти версты тут измерял?

Коней предлагали многие. Частники, конечно. Были они изворотливые, нэповской выучки. А кони пугали своим видом. Никакого конского габарита в этих маленьких мохнатых зверьках. Только и виднелись за передком повозки поднятые крючком хвосты и несоразмерно большая дуга коренного. Путники, следовавшие в те края за свой счет, довольно шумно сговаривались с владельцами лошадей, отстаивая каждый рубль. С нами, военными, вопрос решался проще. Частники, занимающиеся извозом, до точности знали, сколько командирам подорожных выписывают. Эту цену они и назначали, более высокую, чем платили все остальные. И знали они — уплатим!

— Бог ты мой, но когда же я на таких доберусь…

— Добрые кони, паря, — успокаивал ездовой. — За трое суток добегут.

Лошади действительно оказались превосходными. Коренной пошел ходкой рысью прямо с места, а пристяжные поднялись на галоп. В галопе, положим, никакой нужды не было. Поспели бы и рысью. Для вида он тут, для форсу.

Так эти кони потом и бежали, час за часом. Остановки лишь изредка — для кормления. Дорога старинная была, и ее по-

прежнему каторжным трактом называли. По ней шли первые декабристы и русские женщины, воспетые Некрасовым, по ней шли Чернышевский, Михайлов и Феликс Кон. По ней шли тысячи на Горный Зерентуй, на Кадаю…

Сохранилась не одна только дорога. Встречались полуразвалившиеся станционного типа строения, рядом с ними ограда и навес. Первые, по-видимому, для начальства и охраны. Ограда и навес — каторжанам. Невеликие господа — потерпят…

В дорожные думы врезался голос ездового, неугомонного песенника, тянувшего какой-то утомительный, лишь ему понятный мотив без слов.

— Хоть бы пластинку поменял. Воешь всю дорогу.

— Я, паря, не вою. Я пою. Другую песню не можно, потому я слова забываю. Этой песне всякие слова подходят. Когда еду, всегда ее пою…

На исходе третьих суток показался и мой завод. Сотни две деревянных домов у подножия сопки, высокой и голой, с крестом на макушке.

— Вот, паря, он и есть завод, — пояснил ездовой. — Серебро тут добывали и людей сюда заводили, арестантов От тех, должно, это слово здесь и пошло. Давно это было, уж запамятовал когда. При Катерине, кажись…

Уже минуло пять лет, как Нерчинский край законодательно вошел в состав РСФСР, но он во многом оставался обособленным, и остро выступало прошлое края, сказывались остатки «буферного» строя и тяжелое наследие войны.

Были Советы, и они являлись органами власти. Но, наряду с ними, существовали комитеты бывших партизан, опирающиеся на партизанские группы, взводы или сотни, вооруженные винтовками, шашками, гранатами и неконтролируемым количеством боеприпасов.

Такие партизанские комитеты не были враждебны к власти и партии, но, плохо и неправильно руководимые, они ограничивали фронт деятельности и права местных Советов.

Партийные организации малочисленны. На несколько селений один или два коммуниста, их героическая работа вызывала у нас, военных, особую признательность и уважение.

В крае только-только еще налаживалась пограничная охрана. Заставы по 10—12 всадников располагались одна от другой в 60—80 километрах. С некоторыми фланговыми заставами вообще, помнится, не было и телефонной связи. Горные речки, впадающие в Аргунь, в ледоход прерывали всякое сообщение с этими заставами на неопределенно долгое время. К осеннему ледоставу

нам выделили голубиную станцию связи. Но ничего из этого не вышло. Коршуны или другие хищники уничтожали голубей на подъеме, и скоро от нашей станции остались только скучающий ее начальник и пустая кибитка на колесах.

Немногочисленные пограничные заставы с необычайным мужеством отстаивали государственные интересы нашей страны и обеспечивали безопасность жителей пограничной зоны. Условия были тяжелые, таежные. И суровой была борьба одиночных или парных пограничных нарядов с вооруженными контрабандистами и диверсионными группами. Побеждали пограничники, но и мы несли потери. Только в мою бытность на одном третьем участке в боях погибло более десяти пограничников.

Служебная нагрузка была предельной. Признавалось успехом, если для пограничников удавалось выкроить непрерывный семичасовой отдых раз в 5—7 суток. В остальное время отдыхали только днем, по паре часов в два-три приема.

Такая служебная нагрузка стала нормой жизни. Она удовлетворяла нас, и признаки ее увеличения никого не пугали.

Начальник политического отдела округа Грушко, приветливый, умный, несколькими к месту сказанными словами поощрял нас на новые усилия:

— За вашими спинами, товарищи, и мы — сила!

…За Аргунью наш сосед — огромный Китай. Не более враждебный, чем, допустим, Финляндия тех лет или Польша. Более таинственный только и настораживающий. За броским, напоказ, доброжелательством скрывалось стремление нанести хотя бы комариный укус, если больший удар не удавался.

При провале, конечно же, подкупающе ласковая улыбка и неизменные три слова:

— Моя не знае.

Протестуй тут и толкуй о недопустимости засылки в наши тылы диверсионных групп и организаций тайного уноса золота! Что бы ты ни сказал, в ответ получишь все те же слова:

— Моя не знае.

Не о народе я говорю. Трудолюбивый и покорный, он сторонился общественных событий и безропотно переносил тяготы суровой и несправедливой жизни. На лучшее надеялся и, кто знает, может, верил в это лучшее? Тут ли, при жизни еще, или уже там, вдали…

Центральная власть в Китае была иллюзорной. Настоящими хозяевами огромных областей оставались феодальные владыки, и между ними шли непрерывные войны. Один ли против другого выступал или несколько против одного — зависело от

коммерческой прибыльности самой войны. Войска были дешевые. Солдат на собственных харчах стоил в месяц примерно три нынешних рубля. Но эти деньги из собственного кармана феодала-военачальника. В боях могли быть потери, и поэтому стороны избегали сражений. Больше маневрировали и запугивали. По ночам в стан врага кошек кидали, окрашенных фосфором. Такие огненные шарики, от страха и боли с невиданной скоростью скакавшие по бивуаку, поднимали панику и обращали противника в бегство.

Несмотря на весь свой фанатичный антисоветизм, феодальные владыки на большие конфликты с нами не шли. Коммерческое благоразумие, можно полагать, подсказывало невыгодность таких акций.

Но гоминьдановская власть, достигнув пограничной зоны, размахнулась куда как широко. Начала она с разгрома профессиональных организаций советских рабочих и служащих на Китайско-Восточной железной дороге — совместно управляемом коммерческом предприятии — и в дальнейшем навязала стычки и бои на всем протяжении советско-китайской границы, вошедшие в историю под названием «конфликт на КВЖД».

В отражении этой авантюры в первую очередь участвовали мы, пограничники, и, возможно, на своих плечах мы вынесли главную тяжесть, но решающий удар нанесла гоминьдановцам славная Отдельная Дальневосточная армия под командованием легендарного Блюхера. После этого, к зиме 1930 года, в Забайкалье установились условия относительного мира.

Отдельным командирам был разрешен выезд в Москву, куда нас приглашали рабочие коллективы. Я, в частности, ездил на завод «Борец».

Многие встречи с трудящимися страны сохранила память. Встречи с рабочими столичных предприятий остаются их венцом. Руководство ОГПУ наградило всех нас, делегатов, именными часами, и мы радовались товарному знаку этих часов: «Гострест, точмех, Москва».

За эти же тревожные годы в Забайкалье немало было сделано по усилению пограничной охраны. Наши задачи стали еще более сложными и ответственными.

Пекинский Русско-Китайский трактат 1860 года предусматривал упрощенные правила перехода через границу и допускал беспошлинную меновую торговлю. Можно полагать, что такие правила соответствовали духу своей эпохи и отвечали интересам двух в какой-то мере однородных государств. Однако теперь все изменилось. Аргунь стала границей между двумя

мирами.

Китайская реакция наступала, и теперь старые упрощенные правила перехода через границу стали оружием этой реакции. В двадцатые годы в районе Трехречья, в непосредственной близости от нашей границы, сложился целый автономный район, населенный белыми казаками Унгерна, Калмыкова и Семенова. И мало ли еще всяких беглых селилось здесь! Не все в этой белой среде оставались на воззрениях периода гражданской войны. Непоследовательно, робко, но новое росло и там. Однако главари этого района имели устойчивые связи с белыми центрами в Харбине и Шанхае, китайские власти поощряли их «контакты» с японской военщиной. Здесь вынашивались против нас свирепые и подлые планы диверсий.

Закрыть бы эту границу надо было и прервать связи нашего населения с Китаем. Но не закроешь ее! Мы, пограничники, такими правами не наделены. И Хабаровск не закроет, и Москва тоже: это же традиции! По обеим сторонам границы население смешанное, и люди десятилетиями общались.

Мы нервничали, спорили, ругались. С руководящими товарищами нередко возникали разговоры примерно в таком духе:

— Ну, как у вас тут взаимоотношения с Китаем?

— Требуют охотников. До оскорблений доходит: «Моя говорить давай охотников, а твоя все равно как дурак, ничего не понимае…»

— Больное это место у них. Доход от охоты — бизнес местной администрации. А казаки как?

— Охотно идут. Хотя часть пушнины и отбирают китайские начальники, но казакам тоже остается.

— Ну, пусть идут. Пропускайте.

— Непонятно. Мы должны пропускать казаков в это белогвардейское гнездо?!

— Не о «гнезде» речь. Не передергивайте! Я говорю — на охоту пропускать, организованно, по требованию китайской администрации…

— Но есть и такие, которые ходят в Китай, как в школу антисоветизма. И, как из школы, возвращаются с конспектами в виде антисоветских листовок и воззваний…

— Таких не пускать. Не давать таким пропусков…

— До чего же все просто! Войди в каждого, как дух святой, и отдели неверных от верных и добрым голубком оберегай избранников своих…

Но можно ведь и обидеть кого-то напрасным подозрением, можно и антисоветчика не разглядеть. Да и вообще наши люди,

перейдя границу, будут находиться в стане врага длинные зимние недели. И может случиться, что казак уйдет туда нашим, а вернется «с мозгами набекрень…»

Давили на нас и местные представители Наркомвнешторга:

— Жаловаться будем. О пушнине не думаете, товарищи.

Думали мы и о пушнине; объясняя ее значение, не раз втолковывали нам, что для выполнения пятилетки нужна активная торговля, на мировой рынок надо выбрасывать все, до мелочей. И это даст стране заводы, станки, редкие металлы, и кабель, и еще валюту для оплаты иностранных специалистов. А пушнина вовсе не мелочь!

И все же у нас была своя, только нам доверенная задача: охрана неприкосновенности границ, обеспечение революционного порядка в приграничной зоне.

По малозаметным признакам мы улавливали усиление вражеской активности. Диверсии по нашим тыловым объектам и контрабандный увоз золота в Китай оставались, но главное острие теперь было нацелено на станицы и поселки. Это грозило расширением фронта борьбы.

Кое-что мы уже знали. Кое о чем догадывались, но многое оставалось в тени.

2

Земля уже сухая была, по-весеннему голая, и, легко подпрыгивая, мяч покатился далеко в аут. Следя, куда его черти понесли, игроки заметили трех всадников, устало продвигающихся к воротам. Всадники тут не редкость и уставшие кони не в диковинку. Но эти вселили настороженность. В предвкушении отдыха и корма, кони к воротам идут бодро. Даже самые уставшие голову высоко держат и трензелями позванивают. И грязных коней к ночлегу не приводят. За километр или два, где водоемы встречаются, всадники остановку делают. Все у коня почистят — ноги и между ними, копыта, подковы проверят и стрелки. Подпруги отпустят, стремена приберут, чтобы коня не беспокоили, мундштуки снимут и трензеля. Дальше, до самого ночлега, — только шагом на поводу, чтобы сердце успокоилось и дыхание до нормы довести. И себя всадник не забудет, своего внешнего вида.

Не так тут было. Кони изнуренные и грязные, и шли они, пошатываясь, как и всадники, еле передвигая ноги. Настороженность перешла в тревогу: что случилось? В чем дело? Игра расстроилась, и за мячом уже никто не следил. Командиры подбежали к воротам и остановились у коней. Женщины сиротливо сгрудились на дальнем краю площадки. Жалели они, что игра прервалась и пропал тот чудесный час, когда перед началом ночной части рабочих суток на площадке собирались все командиры, члены семей и свободные от службы пограничники. Не так уж много веселья видали наши жены в таежных поселках, чтобы недооценивать эти очень милые часы.

Молодые они, старшей не минуло двадцати пяти, но многие тревоги уже испытали. И знали они: к тем воротам их сейчас не пустят и никто не скажет, что случилось. И муж ничего не скажет, разве только по телефону позвонит:

— Не жди меня сегодня. И завтра тоже. Скоро я. Словом, жди письма…

Так годами. И правило такое выработалось: о служебном говорят только на службе!

Немало тревог выпадало на долю наших женщин, и держались они мужественно, проявляя находчивость и смекалку. Возвращается муж после внезапной долгой разлуки, и к ночи, когда обо всем поговорено, жена таинственно мурлычет и шепчет:

— Знала я, где ты был. С самого начала знала. Все до точности. В тайге ты был. У трех хребтов…

— Господи! Кто тебе такое наплел?

— Ничего не наплел! Все верно узнала. Сама. Хочешь, расскажу, как узнала. Только ты слово дай, что ругать людей не будешь. Обманула я их, опутала. Ну, дай слово!

Слово такое давать можно. Ничего в нем нету особенного. Это ж мое слово, и я ему хозяин. Даю его, когда-она так пристает, и обратно отберу, когда надобность в такой моей доброте минует.

— Обещаю. Валяй!

— Пошла я к Осипову, писарю. Такой дурехой прикинулась, до ужасти: «Почта еще не ушла? Муж позвонил, чтоб белье ему послала. Я еще успею? Мигом я». Посмотрел он на меня удивленно и говорит: «Не может такого быть, чтобы он позвонил! Нету туда телефона и почта не ходит». Смекнул потом, что проговорился, и начал вилять и изворачиваться. Но мне больше ничего и не требовалось. Ты вниз по реке поехал, и раз ты там, куда нет телефона и куда почту не возят, значит — в тайге. Понял теперь? Запомни только, ты слово дал…

Тут бы и сказать ей, что тому слову я хозяин и сейчас его обратно беру. Только не напугаешь ее такой угрозой. Знает она, никому муж ничего не скажет. И он понимает, не будет тут ни ругани, ни разговора.

Может, такая слабость на него тут внезапно обрушилась? А может, и другое вовсе? Вспомнил ее одиночество и волнения в долгие дни и ночи: вернется ли муж сегодня, и вернется ли вообще? То одиночество, которое выдавливало и такие песни:

…сторожила я в землянке семафорный аппарат…

Наконец, лошади подошли к воротам. Высокий буланый опустился на колени и повалился на правый бок. Силился поднять голову. Убедиться ли, что добежал, все в точности выполнил? Или на прощание уже с нежаркими лучами весеннего, последнего солнца? Сил уже не хватило у буланого. Голова не поднималась, и конь успокоился, вытянув шею. Свое он добежал…

Другие два еще стояли, медленно и тяжело покачиваясь Из ноздрей низко опущенных голов вытекали тонкие красноватые струйки. И тут тоже все…

Пограничники, уставшие и замученные, даже постаревшие, как бы опасаясь, что их до конца не выслушают, опустят важное или не как надо поймут, перебивая один другого, твердили:

— Не хотели мы такого, товарищ начальник. Не хотели! За конями следили. Жалели мы коней. Сколько сами рядом с ними пробежали… Но эти два креста на конверте, товарищ начальник…

Никто пограничников не обвинял. Знали, без последней смертельной нужды конник такого не делает. Может, по незнанию кто себе и позволит. Поговорка даже была: «Самые лихие конники — это пехотинцы». Но коннику конь — товарищ, и кто ж друга погубит!

Подошел Чесноков, комендант участка. Фельдшера позвал, ветеринарного:

— Скажите, чтобы вывели. За конюшни, где прошлогодняя солома. Незачем им тут… И этого убрать, буланого…

Состояние пограничников было тяжелое. Девяносто километров через сопки, горные речки и бурелом и все такой скоростью. Каминского вызвали, старого лекпома. Еще на русско-японской санитаром был. Фельдшером прошел империалистическую и гражданскую, Врачом партизанил и служил на золотых приисках. Наконец, попал в пограничники лекпомом. Постарел бывалый медик, и подоспела пора на отдых. Уже и приказ об увольнении пришел, и Каминский, ожидая преемника, сколько уж раз свои баночки и бутылочки проверял, чтоб сразу все сдать новому. Тот почему-то в пути задерживался, и Каминский ходил и поругивался: «Вот молодежь стала! В пути осмеливается задерживаться…»

— Товарищ Каминский! Обследуйте, пожалуйста, этих пограничников. Быстро только, пожалуйста.

— Что на них глядеть. Видывал! Спирту дайте по стакану, и нехай спят! Ничего им больше не треба.

Наметан глаз у Каминского, и солдатские хвори он с ходу угадывал. Для уставших людей лечение знал вернейшее: всем по стаканчику неразведенного и — спать. И всем это лечение на пользу шло.

Командиру нелегко поставить на конверте два креста. Знает он что это значит. Но случается, делает и это. И тогда надтреснутым голосом, в крик командует:

— Гнать! Понимаете, гнать!

Время было суровое. Стычки и схватки с врагами возникали довольно часто и внезапно. Побеждал в них тот, кто прибывал на место с большими силами. Еще Наполеон учил: «Правда на стороне более многочисленных батальонов». Нам не до батальонов! Всадников бы несколько. Звено или отделение, но чтоб в ту самую нужную минуту…

Два креста на конверте поставил и Павел Иванов, начальник отдаленной заставы. Замечательный был конник, выпускник Тверской кавалерийской школы, но тогда он иного решения принять не мог Он пересылал донесение начальника нашей левофланговой заставы Дробина:

«По сообщению двух казаков из Дакталги, там в ночь на 1 мая совершен какой-то переворот. Такие же перевороты совершены еще в двух поселках по левому течению Газимура. В Дакталге и Аркие убито не менее тридцати человек советского актива и районный уполномоченный ОГПУ. Сформирован повстанческий полк, названный Первым. Полком командует и убийствами руководит известный вам Астафьев Игнатий, но он не один.

С ним немало неизвестных казаков из других каких-то мест. На конях все, с оружием. Конный разъезд ближайшей группы содействия пограничной охране обстрелян из большого числа винтовок на тропе на Газимур. Положение очень сложное. Усиливаю оборону заставы и веду разведку. Дробин».

Нас уже мало чем можно было удивить. Но такое — впервые. И, главное, не могли понять, что там случилось, на Газимуре? Знали мы, Дробин не паникер и сообщение этих казаков он точно передал. Но верны ли эти сообщения, и в какой степени они верны?

Налет какой-то неизвестной ватаги? Но откуда она взялась? Мятеж кулачества? Но почему они начали с убийств, ведь этим они явно сократят массовую базу повстанчества?

А что ж тогда? Что?

Далеко очень туда, и не наша там зона. Потому так мало о ней знали. Понимали, конечно, — мы ближайшая реальная сила и с нас спросят!

Зашел Чесноков, бледный и подчеркнуто спокойный. Маска у него такая. Потому и знали — взволнован он, взвинчен. Со штабом отряда, видно, ему связаться не удалось. С начальника связи, можно полагать, он за неисправности на линии хорошую стружку снял.

— Справку на Астафьева Игнатия, срочно! Численность населения на левобережье! Дороги и тропы на Газимур и оттуда в глубину и на Шилку. Переправы. Буду на линии…

Астафьева я немного знал. Обязан был таких знать. Численность населения — это тоже меня касалось. Остальное — дело Воровского, следующего за Чесноковым по старшинству. Ничего он в дорогах и переправах не соображал, но докладывал всегда удачно. Получались у него доклады, особенно устные.

Игнатий Астафьев малое время партизанил против японцев. До помощника командира полка продвинулся, пока не разобрались в нем и не выгнали. Казачишка так себе. Пороху не

изобретет. Но вес в станице имел немалый. И приобрел его немногословием, ведь не сразу же понимают окружающие, что такая молчаливость от пустоты.

Станичные дела, самые нужные и вовсе ненужные тоже, всегда на сходках решали. Так было заведено с давних пор. Все шло чинно и благородно, пока почетные старики свое веское мнение высказывали, а остальные только присутствовали и учились управлению станичными делами. Не то теперь стало. Одни старики поумирали, другие в бегах оказались, а которые и разума лишились с преклонными годами. Вот и пошло. У иного казака и седины на голове почти не видать, а туда же, в станичные дела его тянет, вмешивается. Ну, конечно же, ничего путного у таких не получалось. Вопрос о сенокосах ставился, к примеру, или насчет бугая. Но тут всякие мелкие обиды вспыхивали. Кто-то на соседскую невестку маслено посмотрел, а другого вовсе снохачом величали. Галдеж поднимался и такая перепалка, что мало кто уже и помнил, какой вопрос решался и кто и что предлагал?

Астафьев сидел и молчал. В споры не вмешивался и изучал, какая тут сторона главнейшая будет? Когда же эта главная сторона стоймя вставала и было видно, ошибки не будет, брал слово он:

— Что ж это вы, казаки, как дети малые! Тут же все так ясно, а вы за чубы хватаетесь.

После этого он в нескольких словах высказывал то общее, что выработалось в ходе перепалки и ждало только, чтобы его предложили как решение. Так Астафьев оказывался и ведущим, и во главе большинства. Одобряли его старики, хвалили:

— Умного человека сразу видать. Мало и сказал и все — к делу.

— Не пустобрех, как некоторые иные…

— Что и говорить.

Слухи еще были о нем темные, нехорошие. Но он жил далеко от нас, и мы его тщательно не изучали. Таким я знал Астафьева. Но начальству так не доложишь. Ему кратко давай, суть одну, как сухую воблу:

— Не Астафьев там руководит. Или ошибка в донесении, или он подставное лицо. Главарь, скорее всего, из тех, приезжих…

— Согласен. Не Астафьев. Населения сколько?

— Строевых казаков менее двухсот. Стариков и подростков до ста человек. Приезжих не более двух десятков. Перебили два-три десятка и этим…

— Без беллетристики — полк или не полк?

— Полк по названию только. Казаков двести в нем наберется

ли.

— Допустим. Ну пусть триста. Но это предел. Дороги как, переправы?

Этот вопрос уже не мне — Воровскому. Знаменитость он был в своем роде. Такие в те годы еще изредка попадались. Говорили, за таких между соседними командирами всегда спор шел.

Скажет один:

— Берите у меня Воровского.

Другой тут же ответствует:

— Нет уж, не буду обижать вас. Владейте!

Недолюбливал я его и замечал — не нравился он и Чеснокову. Но тут ничего не поделаешь! Право выбора себе начальников или соседей никому не дано. Да и свои качества не всякий с ходу покажет. Постепенно все и незаметно, как теща.

Блестяще доложил Воровский и тут:

— Ледоход по всему бассейну начался вечером тридцатого и в ночь на первое мая. Ни одного брода в такое время через Газимур нет и не будет ранее, чем пройдет лед. На это надо дней семь-десять…

— Что это вы? Прискакали же казаки из заречной Дакталги на заставу, а другие обстреляли группу содействия. Значит, переправа возможна.

— Нет, не так. Мятеж, или что уж там произошло, был приурочен к началу ледохода, чтобы тот район от нас изолировать. С тыла враг не боялся. Там наших сил нет. Сколько-то казаков заранее было оставлено на правом берегу для борьбы с нашими разъездами и для охраны переправ. Они-то и обстреляли разъезд группы содействия пограничной охране.

— Логично. Допустим, что именно все так и было. Отсюда следует, что руководители этой ватаги понимают приемы малой войны…

— Убийствами актива они большую ошибку допустили. Тот сучок подрубили, не котором бы им…

— Не торопитесь с выводами. Мы еще ничего не знаем, ничего!

Все решалось быстро, бегом забегали, и уже через час я поплыл в бату вниз по Аргуни. Задание строгое: за ночь достичь фланговой заставы за 135 километров. Направить туда же половину пограничников соседней заставы и до приезда Воровского, назначенного командиром оперативной группы, возглавить оборону заставы и организовать все виды разведки. В дальнейшем я помощник Воровского по разведке.

Патронов в бат напихали порядочно, ружейных гранат и медикаментов. К концу вижу, еще и лекпома Каминского на берег

тащат: «Бери, — говорят, — тебе приказано брать его Тот, новый-то, в пути».

— На черта он мне, дряхлый старик! Ни шестом, ни лопатой он бат толкать не будет, а весу в нем сколько!

— Надо брать! Нельзя без него. С батом сам управишься.

Начальству не откажешь. Кое-как нашли место Каминскому. На самое дно бата его посадили, и мне тут же команда — пошел!

Каминский мог бы и не ехать. Приказ об увольнении уже пришел. Отказался бы и все. Но, видно, по своей охоте поехал, хотя для вида ворчал и чертыхался:

— Скажи на милость, куда ты меня тащишь? На черта я тебе нужен?

Не скажешь старому человеку, что ни черту, ни мне он больше не нужен. Потому я Каминскому ничего и не ответил, промолчал. А он, видно, злой был и все мои больные места искал:

— С женою молодою хоть простился?

— Да, позвонил, чтобы не ждала пока и не волновалась.

— По телефону, значит… Вот какие времена настали! И на коне ты исправно скачешь и все такое, а с женою по телефону… Чудно! Не казак ты, Михайлыч. Далеко не казак!

Угадал, чертов мерин! Под шестьдесят ему, давно вдовый, а мое больное место с ходу нащупал. Только с неделю, как жену из Москвы привез, молодую. Женщины, известное дело, солдата портят. Ленив на выезды становится человек, все его домой тянет. И разве мы только, маленькие люди! Стенька Разин как изменился и только за одну ночь. А тут неделя…

Волновало другое, главное: что случилось на Газимуре? Если кулаки подняли мятеж, то почему Чесноков не придал значения словам Воровского о суживании массовой базы повстанчества такими убийствами. Тут же все так ясно! Не любят казаки кровопролития. Они устали от запаха крови. А если не мятеж там кулацкий, то что же там?

Тревожило и время. Успею ли? Успеем ли мы вообще? Произошло это в ночь на 1 Мая. Дробин узнал утром пятого, и сегодня тоже еще пятое. Значит, не очень медленно мы действуем. Но банда опережает нас уже на пять суток. Много это, очень много!

Лед только пошел. Вода еще была высокая и течение быстрое. По фарватеру километров десять в час, если не больше. Шестом и лопатой я владел. Силою бог не обидел, и бат шел ходко, опережая скорость реки.

На место добрались в сумерках, часа за четыре. Там следили за рекой. Заметили нас, и начальник заставы Иванов подъехал к берегу.

— Новых данных нет. Я туда сразу же Черниговского направил, помощника. Половину людей ему дал. Пост на тропе в Чирень выставил…

— Понял, Паша! Хорошо. Завтра жди Воровского с конниками. Он будет командовать Если что новое узнаю — дам знать.

С Павлом Ивановым меня связывала многолетняя служба. Молодой он совсем был тогда. Года на четыре моложе меня. Помню, когда мы его в партию принимали, его автобиография уместилась на пол-листе почтовой бумаги, хотя указал он все: родословие свое, школу второй ступени, Тверскую кавалерийскую и службу в армии. После в финскую кампанию мы встретились с Пашей в поезде. Учились потом — я на «Выстреле», он — на третьем курсе Академии имени Фрунзе. Первомай 1941, после парада, праздновали у него в академическом общежитии. С семьями. А после он выехал на рекогносцировку оборонительных рубежей в Особом Белорусском и там обрывается его след. Не одного его. Многих тогда…

Но это было потом, в сорок первом, а сегодня:

— Ну, бывай, Паша!

— Бывай!

Чтоб сэкономить время, я направил бат по протоке, но тут же был остановлен окликом из кустов. Вышел оттуда человек. Казак, должно быть, не по сезону под охотника снаряженный.

— Куда вы, начальник? Вниз? Туда нельзя! Повстанцы туда поскакали.

— Много там этих… повстанцев?

— Много, начальник! Тьма-тьмущая. Восемь полков конных, сказывали.

— Сами эти полки видали?

— Не так, чтобы всех сам. Сказывали, которые…

Врет он и напугать хочет. Это ясно. От них он, от этой банды, чтобы посеять неуверенность и панику. Прием этот не новый, и такие встречались. Но что с ним делать? В бат его взять не могу. Тут и места нету, и небезопасен такой сосед в бату. Но решать как-то надо.

— Хорошо, что встретились! На заставу езжайте. К Иванову там, начальнику. Скажите, что я вас послал, Петров. И чтоб накормил вас, и утром, когда почту пошлет, вместе с пограничниками к Чеснокову направил. Ждет он вас, Чесноков.

Не понравилось мое решение Каминскому, и, когда бат отошел от берега, он свое недовольство высказал:

— Дурень ты, хоть и начальник ныне. На заставу тот не поедет…

— Почему не поедет? Накормят же его там и все такое.

— Очень ему твой корм нужен! От них он, от этой банды. Понял теперь?

— Откуда вы это знаете?

— Поживи с мое; и ты узнаешь! Видывал я таких. Эсеры тут были. Еще в партизанах, бывало, когда на японцев выступали, они партизанам на ухо нашептывали: «Не дюже, ребята, нажимайте, чтоб больших потерь не понести. Силы для борьбы с большевиками берегите». Теперь понял?

— Опять не очень чтоб.

— Молод, потому. Спросил бы, кто знает! Убить его надо было!

— Как на Газимуре?

— Сразу и так! По-умному можно было и без свидетелей. Дал бы ему по башке и уплыл бы! А ты ему: «К Иванову… накормят там». Нужен ему твой Иванов!

К станице приплыли около полуночи. Ни огонька, ни людского голоса. Затемнение, видно, Дробин ввел и выходить из дворов запретил. Хорошо, что китайский Имо-хэ на другом берегу отдельными огнями просвечивался. По нему и ориентировались. Иначе бы мимо проскочили. Может, до самой Покровки на Амуре…

Причалить к берегу я боялся. За рекою в такое время наблюдение установлено, и хотя бы один «Дегтярев» на рогатках для ночной стрельбы направлен в нашу сторону. Вообще-то полагалось вначале остановить окликом и уж потом стрелять, если человек не послушается. Но это в мирное время. А теперь эти действия могут переставить местами, и пойди потом докажи, что не в таком порядке тебя продырявили…

Решаю встать на якорь и понаблюдать. Каминского предупредил:

— Сиди тихо и не дыши!

Порядочно мы ожидали. С час или больше. Шорох потом уловили, шуршание гальки под ногами коней. Поскрипывание седел послышалось и легкое позванивание трензелей. Наши кони, пограничников! Казачьи седла так не скрипят, и уздечки они снимают. В недоуздках коней водят, без трензелей. Под седлами Дробин коней держит. Готовность высокая!

Когда пограничники, напоив коней, удалились, мы подняли нос бата на берег и пошли вслед за ними.

За ночь все решили. Еще и на сон пара часов осталась. Условились так: Дробин отвечает за оборону поселка и охранение его дальних подступов Он же, к моему приезду, подберет

нескольких казаков, имеющих родственные или какие-либо другие устойчивые связи с жителями левобережья Газимура. Они могут понадобиться нам. Я и Черниговский с пограничниками соседней заставы на рассвете выезжаем в Будюмкан, выясним там обстановку и возможности организации надежной разведки из казаков Верховья. Посылка туда разведчиков через многоводный и опасный в такое время Газимур несомненно насторожила бы бандитское руководство.

От усталости и забот я забыл о Каминском. Да он меня и не интересовал. Доставил его на место, как было приказано, и будет с меня.

Когда заседлали коней, Каминский прибежал обиженный и злой:

— Это мне, начальник, нынче за вами пешим бегать? Или как еще изволите?

— Что это вы, Каминский?

— Удивляетесь, начальник? Стало быть, непонятливый стали. Или ты мне коня подал? Двуколку санитарную?

— Зачем вам конь? Вы же здесь остаетесь, в станице…

— Для какой такой радости я сюда таскался? Ты это понял, начальник?

— Тяжело, думал, вам будет. Годы…

— Подмоги твоей не просил. Был бы стар, не поехал бы! Кто меня насиловал-неволил? По своей охоте поехал, чтобы дело делать, а не тут сидеть. Хочешь командовать, так и людей понимать должен. Это самое первое…

Понял я мою тяжелую ошибку. Хорошего человека обидел, выкручивался, как умел:

— Главный же медпункт здесь будет! И вы тут начальник…

— Чудно у вас получается! Раненые меня сами тут шукать будут? Отродясь такого не видывал! Всегда санитары раненых выносили из боя или кто сам карабкался, а мы, фельшера и врачи, забинтовывали и дальше направляли. На худой конец место винтовкой отмечали, штыком в землю, либо пикой, чтоб другие нашли и помогли… А у вас чудно́ получается, начальник мой…

— Нельзя вас туда брать, товарищ Каминский. Никак нельзя! — упорствовал я. — Раненых сюда посылать будем, и здешние разъезды тоже потери могут иметь. Тут вы им и поможете, а тяжелых, если будут, — в Покровку на бату…

— И тут учить меня?

— Нет, товарищ Каминский. Задание вам такое.

Отошел удовлетворенным. Победу он одержал. Поучительную для меня.

Пока я за бандой гонялся, приехал Каминскому преемник. Уволили старика, и встретились мы с ним только через пару лет. На прииске это случилось, где он работал и фельдшером и врачом. Хорошо Каминский меня принял, по-дружески. К себе пригласил и большую бутыль на стол поставил. С белой головкой.

— Еще душа принимает, товарищ Каминский?

— Ты за мою душу забот не имей, Михалыч.

Выпили по одной, а может, и более. Сидели, закусывали и старину вспоминали. Приложились еще, и, растрогавшись, прослезился старый медик:

— Ты зла на меня не имей, Михалыч. Злой я тогда был и сильно обижен. Только не понимаешь ты еще той обиды. Узнаешь ее, когда твой черед наступит в ветхость списываться. Все тогда узнаешь, Михалыч. Всю жизнь казаков и солдат лечил и все ихние хвори знаю. А тут тебе говорят: «Иди, старик, уходи! Нам нового дали, молодого». Как невесте радуются: молодой. А что в этом молодом? Что он знает и что умеет?.. А смертей, Михалыч, много я видывал. От самых маньчжурских сопок до Пруссии, и они все за мной ходят. Берешь горсть земли, а она кровью пашет. Много полегло людских голов, Михалыч. Может, еще по одной?

— Давай.

— Работаю сейчас исправно, и эту обиду забывать начал. И мне тут верят. От той веры люди больше и излечиваются. У меня же для больных почти ничего и нет, а народ валом валит. Казачки станичные и бабы из приисков. Не в район едут, а все хотят, чтобы я их лечил. Знаю я ихнюю беду, и у всех она тут одинаковая — непосильная работа, не женская. В студеной воде вместе с казаками час за часом невода тянут… Приходит такая и жалобу свою рассказывает. И я ее тоже допытываю, хотя все уж не хуже ее знаю. Для вида это делаю, чтоб веру внушить.

— Тут больно? — спрашиваю, и пальцем на самое больное место надавливаю.

— Ой, как больно, доктор!

— И тут?

— И тут.

Обследую ее кругом. Это и для вида, и чтоб самому убедиться. Порошки, какие есть, или капли выписываю. Всякие, лишь бы не вредные были. Скажу одной, чтобы до еды принимала, а другой — чтобы вечером, к ночи ближе. Кому восемь капель назначу, а другой пять или десять. Совет даю верный: в холодную воду не иди покамест и ноги в тепле держи. Скажи своему казаку, чтоб от цепа на молотьбе тебя освободил. Не бабье это дело! Встречается потом на улице или которая и сама поблагодарить заходит:

— Полегчало, доктор. Как полегчало!

Вера, Михалыч, первое дело… И надо уметь внушить ее людям…

В Будюмкане казаков не застали. В ожидании нападения они оборону держали на подступах к станице. Некоторые в тайгу сбежали. Подальше от греха! Каза́чки дома, да дети малые и немощные старики. Может, и они побаивались, но вида не подавали. Держались хорошо:

— На ихнюю вражью сторону велят переходить. А которые несогласные, тех тут и убивают. Казаки, которые робели, в тайге ховаются. Кроме строевых. Те, известное дело, оборону держат, либо на разъездах-патрулях…

— Вы как остались?

— Мы — бабы. И куда нам с детишками? Пускай хоть тут убивают, хоть что делают… Подаваться нам некуда. И не может того быть, чтоб они сюда прорвались. Не позволят этого наши казаки…

Подошел командир группы содействия пограничникам. Видный казак, боевой. Винтовка у него и шашка. Граната одна, японская.

— Оборона надежная. На рассвете показались ихние всадники. Мы их обстреляли с большого расстояния, и они назад ускакали. Наши посты потом заметили: в сторону Чирени подались. Три группы. По неполной сотне в каждой…

— Давно это было?

— Нет, недавно. Сразу после второго чаю.

— Что там случилось, на Газимуре? От кого и как вы об этих событиях узнали?

— Вчера ночью, на пятое, сотский — исполнитель по-нынешнему — прибежал: «Беги, — говорит, — в Совет! Срочно!» В такой час в Совете никого не бывает. Сторож, один казак из Дакталги и этот исполнитель, что меня вызывал. Кого-то тот казак щупал у нас и народ смущал. И меня пугать начал:

— Беги, — говорит, — и свою группу распускай! Пусть всякий сам спасается, как умеет. Сила на вас идет! Не совладать вам. Сколько казаков на том берегу погубили-перебили! О боже ж ты мой! Власть там теперь совсем другая…

Не стал я его слушать и в холодную посадил. Часового поставил. Там он и теперь. Дробину, начальнику заставы, сообщил и тревогу поднял Разведку выслал. В пути банда обстреляла нашу разведку. Она потеряла двух коней и заняла оборону. С тех пор там оборону и держим. В людях потерь не имели.

— Этим берегом можно добраться до Чирени?

— Трудно. Лесом только можно. Поселок — на том берегу.

— Ну что ж, держите оборону и станицу не бросайте! Надо и тут охрану иметь, и связных оставляйте Словом, все у вас хорошо. Этого задержанного еще сегодня под конвоем направьте к Дробину.

К Чирени нам надо было пробиться непременно. Раз банда взяла курс туда, она может попытаться переправиться через реку и напасть на заставу. Или резню устроить в Чирени?

Путь оказался необычайно Тяжелым. И только часа через четыре, покалечив ноги коням, прибыли к Чирени. Наш берег, покрытый лесом, был немного выше, и поселок хорошо просматривался. Был он невелик, всего одна улица вдоль реки. За поселком — довольно широкое поле или заболоченный луг. Печи топились, что видно по дыму из труб, но людей на улице не было. Оседланные кони тремя группами, по полсотне в каждой, стояли в закоулках. Бандитские, конечно. Сами бандиты или забавлялись в поселке или уже чинили суд и расправу, как на Газимуре.

Подошел Черниговский:

— Давайте обстреляем коней из «пушек». Нервы казаков проверим и, может быть, отгоним их от поселка?

— Давай! Быстро только.

Такая «орудийная» стрельба почти безвредная. Забава больше, но иногда и не лишенная эффективности. Делалось это так: винтовки с мортирами устанавливались в неглубокой лощине или на обратном скате, как пушки на огневой. За ними, по числу мортир, взрывали ручные гранаты, имитирующие выстрел из орудия. Одновременно с этим стреляли гранатометчики. Таким образом, обороняющийся улавливал «пушечные выстрелы» и тут же над головой взрывы ружейных гранат, легко принимаемые за шрапнель. Точность стрельбы была ничтожной, и потери от такого огня незначительные, больше случайные. Но пугать можно было. Шутка ли, из пушек палят!

Здесь, в Чирени, переполох поднялся необычайный. Казаки этого «повстанческого полка» бросились к коноводам, сели на первых попавшихся коней и ускакали в сторону леса. Коноводы тут же погнались за ними. Многие кони, оставленные коноводами, без всадников скакали за «полком», а казаки, кони которых ушли или были захвачены другими, резво улепетывали последними.

— Ну и полк же! И порядки же у них! Коноводы-то что сделали…

— Бегут здорово. Тяжело будет таких догонять, но придется…

Обратный путь оказался еще более трудным. В топкое болото

угодили, валунное, с глубокой и вязкой грязью между камнями.

Хорошо, что со мной был Черниговский. Молодой, но толковый командир, расчетливо смелый и в тайге разбирался. И товарищ что надо!..

После подавления мятежа мы навсегда потеряли Черниговского. Его даже и увольнять не стали, а изгнали. Кулацким сынком, говорили, он оказался. Может, и так. Но могло быть, что его родители уже после, во время его службы, кулаками стали?

Легко и быстро мы в те годы налепливали ярлыки и кулаков, и кулацких сынков. Изредка вспоминали Черниговского. Добром, по-хорошему. Товарища мы в нем потеряли и верного друга.

Усталость одолевала, но было не до сна. Прошли уже сутки, и никаких положительных результатов не добыто. Тут сон не берет! И работы тоже много. У Дробина свои заботы — подобрать надежных казаков в разведчики. У меня и у Черниговского — разместить отряд на ночлег, кормление, водопой и перековку коней. И мало ли еще что. И главное — беседа с этим задержанным в Будюмкане.

Товарищи, по-видимому, верно определили — враг! Злобный, неопытный только в таких делах. Труслив тоже и сильно напуган. Смотреть в глаза избегал, изворачивался и врал. Мы уже намечали использовать его для дезинформации и поэтому правды от него и не добивались. Лишь бы он поверил, что мы ему верим и проглотил бы нашу легенду. Ничего больше от него не требовалось.

— Так точно все было. Игнашка Астафьев и которые с ним. Все они только мутят.

— Что же вы, казаки, не остановили его? Арестовали бы.

— Остановить или арестовать Игнашку Астафьева? Он же не один был. С ним сила! — И после, заметив, что проговорился и сказал лишнее: — Я там и не был тогда. Уже неделя, как я на этом берегу Газимура. Собрали нас и послали. Патрулировать будете, сказали, пока лед пойдет…

— Как вы об этих убийствах узнали?

— Сказывали казаки. Узкие там места есть, и через реку можно переговариваться. Казаки подъезжали к реке и передавали.

— Что эти казаки вам говорили?

— Будто сходку там созвали. К вечеру того дня, когда лед поднялся. Всех казаков вызвали. Астафьев там, Игнашка, и с ним многие, даже незнакомые вовсе. С оружием они трибунал избрали. А Игнашка и указывал, кого надо связать и убить. Так и делали. Не так, чтобы один кого хочешь убивал, а чтобы многие

одного били. Игнашка и которые с ним требовали: «Всему миру вредили, всем миром и карать». А того начальника из ОГПУ убивали все казаки. Тут следили, чтобы били все, хотя и не живого уже…

— И много так перебили?

— Не так что много. У нас до двадцати человек и восемь или десять в Аркие…

— Да, немного, значит. А трупы куда?

— В тайгу завезли и там с обрыва бросали, шакалам. А того начальника из ОГПУ в мякиш поколотили-порезали, и что осталось в лужу сбросили. В грязную, за кладбищенской оградой. Такого не повезешь..

— Вы, стало быть, не убивали?

— Как можно! Разве б я…

— В Будюмкан вы зачем поехали?

— Предупредить! Сказать, чтоб ховались. Наши же на них пошли. Все с оружием. Разве тут будюмканцы устояли бы? И зачем, чтобы казаки на казаков боем шли? И наш начальник еще мне сказал, чтобы я в Будюмкане его знакомого нашел и тому бы сказал…

— Не поверили вам там, в Будюмкане?

— Не застал я того казака. Другим начал сказывать и те не поверили. Еще и наши не поспели ко времени…

Ясно все. Противно и пора кончать.

— Не находим мы вашей тут вины. Сами не убивали и еще и будюмканцев спасти намеревались. Или вы не все нам верно рассказывали?

— Все верно! До точности верно.

— Ну, тогда что ж, пообедайте и езжайте домой. Или вы куда еще намеревались?

— Куда там! Я домой. Если реки еще переезжать нельзя, в тайге у костра посижу.

— Да, лучше, наверное. Время такое тяжелое.

В столовой у окна посадили, чтобы двор ему был хорошо виден. Он должен сам все заметить, выглядеть! Вдоль ограды, против окон, пограничники канатную коновязь натягивали. Дробин и Черниговский ее на части ногами измеряли, по числу коней в эскадроне, и, увлекаясь, называли эскадрон Второго полка ОГПУ.

Пообедав, казачишка выехал удовлетворенным. Не только скрыл от пограничников свою принадлежность к банде убийц, но еще и выследил подготовку к размещению целого красноармейского эскадрона. Это ли не успех!

И мы в обиде не оставались. За участие в банде он свое

получит, когда настанет время. Эскадрон же выдуманного кавполка, хотя и «липовый», запутает карты бандитского руководства и в течение нескольких дней будет волновать его не меньше, чем любой другой самый натуральный эскадрон.

Я и Черниговский решили заночевать у Дробина, вечного холостяка. Все трое еле держались на ногах. Но уснуть не успели, прибежал дежурный:

— Воровский приехал и вызывает.

Подошли и, как положено, представились. Тот не в духе оказался или просто власть показать хотел:

— Много спите, товарищи, даже вечером в такое время.

— Сон спокойный. Вот и спим, — сказал я.

— Сон я отгоню. Утром выезжаем на Газимур, в Дакталгу.

— Завтра выезд невозможен. Мы уже все рассчитали на послезавтра. Нужен отдых коням и перековка. Вьюки только к вечеру завтра будут…

— Выступаем завтра в 6.00. Поняли?

— Это безумие…

— Вашего совета не спрашиваю, а приказываю: выступаем завтра в 6.00. Что вам не понятно?

— Люди тут намечены для разведки, и надо с ними как следует поработать…

— А до этого кто вам мешал с ними работать? Разведку тоже на себя беру. Ваше дело — выполнять мои приказания, пока я вам это доверяю…

В 6.00 так и поехали, подавленные и удрученные. Вьюков приготовить не успели и поехали без станковых пулеметов Овес только в саквах, на день. Сена вовсе не брали. У бойцов «сухой паек» на один день и только по одному боекомплекту на экземпляр оружия. И это зная, что до Газимура полсотни километров, и вовсе не ведая, как и когда нам удастся реку преодолеть. Или, возможно, придется форсировать под огнем. И какие пятьдесят километров! По тайге, по болотам, по камням и через бурелом…

Дачники, одним словом!

Худшие опасения оправдались. Через Газимур в тот день переправиться не удалось. Ледоход заканчивался, но лед шел и был еще слишком грозным. Не имея фуража и продовольствия в запасе, Воровский приказал возвратиться.

Может быть, он и понял свою вину. Но признать ее не хотел и искал спасения для себя или хотя бы маленькой лазейки:

— Я заболел. Примите командование.

— Только на месте и только по письменному приказу.

— Погубить хотите? Не выйдет! Я и ваши дела знаю и

покажу. У меня в Хабаровске «рука»…

Отозвали его, и он исчез за горизонтом. Приказа не было. Очевидно, «рука» у него все же где-то была…

Раньше нас в Дакталгу ворвался отряд из коммунистов и советских работников Газимуровского района. Этот отряд шел со стороны тыла и реку Газимур миновал. Мы, преодолев реку, пришли в Дакталгу на другой день. В дальнейшем активную борьбу с бандой проводили мы, пограничники. Местный актив выполнял обязанности караульных команд по охране населенных пунктов.

Первые наши сведения о событиях на Газимуре полностью и почти дословно подтвердились. Оставалось только тайной — в каких целях были совершены столь многочисленные убийства и особо изощренное, поистине сатанинское глумление над убитыми. Даже после пленения Игнатия Астафьева и всего его «штаба руководства» нам не удалось полностью проникнуть в эту тайну.

— Скажите, Астафьев, для чего вы так много людей убивали? Ваших же, станичников?

— Я? Ни одного человека не убивал.

— По вашему же приказанию убивали!

— Приказывал и я. Это верно! Но еще и трибунал у нас был, мной назначенный и утвержденный сходкой… Тут такая тактика наша была: ежели кто убивал, тот нашим будет! Сдаваться такому или там других властям выдавать не с руки. Свой грех знал…

— Убивали, значит, только для того, чтобы страхом наказания скрепить ватагу?

— Не, не только из-за этого. И другая причина была, важная. Пока у казака руки не в крови, он с нами не пошел бы. Как бы иначе ватагу-то набрали? Но когда скажешь — на, бей, и он послушается, значит, наш. Никуда более не уйдет! Для того и убивали.

— Ну, а если бы кто-либо не стал бить и убивать?

— Такого бы тут же прикончили. Таких оставлять нельзя! Были бы и такие, да следили мы. У кого ружье, того слушаются…

— Кто вас, Астафьев, всему этому научил?

— Этого я вам не скажу.

— Может, скажете, Астафьев, для чего такое глумление над трупами. Это ж ведь не казачье, а трупы.

— Это все одно. Надо было, чтобы нас боялись, страшились бы нашей кары. И чтоб за это и наказания ваших властей больше страшились. А покойнику что? Ему все одно…

— Какую цель, Астафьев, преследовали эти ваши преступные действия? К чему вы стремились?

— Большую ватагу «вольных казаков» хотели создать. Быструю, на хороших конях, с заводными. Погуляли бы мы по станицам и поселкам восточной части Забайкалья, страху бы нагнали, повеселились бы…

— Для чего это вам, Астафьев?

— Вольной жизни хотелось, как в старину бывало. И еще говорили, чтоб к приходу японцев все разрушить…

— Так вам кто говорил?

— Уж этого я вам не скажу.

Ответа на этот вопрос Астафьев нам так и не дал. Правда, и времени для разговоров с ним мы имели мало. Часа два в станице и столько же на пароходе «Пахарь». Не исключено, что следственные органы Сретенска или краевые добились большей ясности. До нас доходили только слухи.

После пленения Игнатия Астафьева мятеж, было видно, затухал. Нашей группе поручили: как можно скорее выловить остатки этого «вольного казачества».

Большую часть времени мы находились в тайге. Нередко — глубокой. Стремились полностью изолировать остатки банды от населенных пунктов, дорог и речных переправ и, конечно, преследовали «вольных казаков» изо всех сил. Изредка бывали в Дакталге. Туда нам доставляли продовольствие и фураж. И там сосредоточивались все данные о банде, о планах и намерениях ее нового руководства, эти сведения получали через хорошо налаженную нами разведку.

В одно из таких наших посещений в станице появился незнакомый человек, пожилой уже и по одежде — не казак. У станичного совета привязал коня и степенно, нарочито медленно поднялся по ступенькам в помещение. Старик был высокий, широкой кости и слегка сутулый. Черты лица крупные, угловатые и как бы внезапно состарившиеся. К нам прибежал сотский — сельский исполнитель:

— Человек приехал, большой какой-то! Вас шукать велел. Старшего чтоб к нему…

Пошли я и Дробин.

— Моего сына тут убили, чекиста. Я его отец, и вот мой мандат, — и показал нам предписание районных властей, обязывающее все должностные лица оказывать ему содействие в перевозке трупа сына в родное село. Вспоминается, хотя полностью не уверен, — в поселок и прииск Усть-Кара.

— Где мой сын похоронен? Место знаете и покажете?

— Знаем мы место в покажем. Тут она, временная могила, совсем рядом.

— Могилу оборудовали? Как принято, украсили?

— Нет, отец. Ничего этого не сделано…

Старик помрачнел и вздрогнул, как от удара. Тяжелая обида проникла в его душу и обрушилась на нас.

— Не нашли время, значит, думать о могиле товарища. Недосуг… И кому он теперь, покойный…

— Нельзя так, отец. Тяжело вам, мы это понимаем. Но и нам нелегко. Другом нашим ваш сын был и братом. И не надо на нас обрушиваться. И у нас горя хватает… Труп вашего сына в гнилой яме, куда те изверги его сбросили. Никакой могилы там не соорудить. Вынести труп в другое место запрещено районными властями до вашего приезда, чтоб вы сами распорядились. Простынями укрыли и соломой. Земли немного… От мух хотя бы…

Понял старик наше объяснение. Чувство обиды уменьшилось, но не исчезло. Глухо и суховато сказал нам:

— Не к тому я. Негоже только, чтоб труп в гнилой яме валялся. Сын он мне. И другого так нехорошо… Проводите меня туда, к могиле. Путь покажите. Там покамест останусь. Один постою…

Не прошло и полчаса, как сообщили: «Старик труп откапывает. Один». Подошли мы и помогли вынести труп на сухую поляну.

«Его в мякиш»,-говорил нам тот бандитский посыльный. И он не врал и знал, что говорил. Не труп в обычном понимании мы извлекли из ямы Бесформенное что-то и липкое…

— Домой я его не повезу такого. Не заслужила наша мамка этого, и незачем ей такое знать. — И тут же, обращаясь к нам: — Достаньте мне кровельного железа лист и дров. Чтоб дрова сухие были и толстые.

Привезли мы старику дрова, и железо содрали с крыши одного из активнейших убийц. Просил еще наковальню, молоток и топор. Доставили и отошли.

К вечеру запылал огромный костер…

До сих пор перед моими глазами — большая и отлогая сопка. На ее фоне желтое пламя огня и резкие острые, как иглы, зеленоватые блики над тем огнем. Около костра высокая и скорбная фигура человека с длинным багром…

К утру все было кончено. В две четвертные бутылки уместилось все, что оставалось от сына Эти бутылки старик привьючил к седлу и тут же, не отдыхая, поднялся на коня:

— Домой это. Мамке нашей…

3

После событий на Газимуре прошло несколько месяцев.

Едем в управление. Так людно нас редко собирали. Разве только при смене руководства или для одновременного «озадачивания», как в тех краях именовали постановку новой задачи. Вообще это правильно, что так называли. После двух дней выступлений руководителей оперативных служб, политического отдела, строевого, хозяйственного и двух докторов — людского и конского — и «особиста», мы уже были в таком замешательстве, что когда за конец супони брался старший начальник и начинал дотягивать, — мы уже ничего не соображали.

Путь дальний. За полтораста верст в лютый мороз, с туманом. За полсотни градусов перевалило или около этого. Верхами в такой мороз не поедешь. В кошевках мы, в тулупах. Три человека в кошевке и коней три. По числу людей.

— Узнаем, что это за новая метла объявилась.

Это мы так о новом начальнике. Сердитый, передавали — беда с ним. Это так уж сложилось, что слава о новом командире всегда впереди него двигается. Верная там или неверная, но впереди непременно!

Разные бывают метелочки. Есть, которые норовят мусор по углам ховать.

— Бросьте вы к черту! Еще и человека не видали, а уже — метелочка.

Это наш комендант участка так на меня и на Колю Васильева набросился. Чесноков Александр Николаевич. В свои двадцать девять лет бороду отрастил, густую и черную, как воронье крыло. Холил ее и на две стороны расчесывал. Не понравилась эта борода Коле Васильеву. Вообще он был неглупый и товарищ неплохой. Ленив только и не любил дело до конца довести и во всем досконально разбираться. Поймал его Чесноков в таком деле и с него стружку снял. Обиделся тут Коля и грозил:

— Подберу я кличку этому бородатому. Вот смехота будет.

Ничего у Коли Васильева не вышло. Может, здесь его вины и не было. Приехала к нашему коменданту его жена, Мария Андреевна, молодая, красивая. С ее приездом у нашего начальника борода исчезла. Мгновенно и начисто, как не бывало.

Кличка — дело серьезное. Тут умеючи надо! Если вот казаки или казачки кличку налепят, тогда железно. Жизнь их научила, необходимость житейская. Был где-то на отрыве казачий пост. Три там казака или шесть, звено полностью. Допустим, даже два звена, двенадцать казаков. Фамилий не больше, конечно. Меньше

могло быть, если братья или там однофамильцы на один пост угодили.

Пошли потом от тех казаков дети. От тех детей опять свои дети, уже внуки, значит. И так двести лет! Казачий пост вырос в поселок или станицу в пятьсот или тысячу казаков, а фамилий не прибавилось. Как было три, шесть или даже двенадцать фамилий, так и осталось. Образуется тут такое множество однофамильцев, что без надежных кличек в людях не разобраться. Тут казаки и налепят друг другу клички, и они — на многие поколения. Пойдут потом от тех корней Иваны или Онуфрии, но все они «Белые цари» или «Живодеры», как кому досталось. Попадаются и обидные клички, но мирятся казаки. Не обижаются! И правильно! Иначе нельзя. Не назовешь же всех уважительно, например, «Божьей коровкой».

Дальше уже уточняются как бы по росту. Только тут особенно доверять не надо. Малый, говорят, а он в сажень ростом. А другого, козявку почти, Большим называют. Возрастное это. Большой, значит — старший.

Мало нас было, командиров-пограничников, в Забайкалье в те годы. Встречались редко, в пути только. И в радости мололи языками. Не так чтоб злобно и не совсем всухомятку, чтобы язык от чрезмерной сухости не потрескался.

Но раз комендант не хочет, чтоб мололи — помолчим.

Новый начальник себя напоказ не выставил. Не было и традиционного «озадачивания». Директиву нам зачитали полномочного представителя ОГПУ по Дальневосточному краю Т. Д. Дерибаса, члена партии с 1913 года.

Не все в этой директиве было новым, но новое было:

> «Наши государственные интересы и революционный правопорядок мы охраняем в интересах людей, человека».

Значит, в первую очередь надо охранять самого человека. Не человека будущего, который появится в свое время без изъянов и с символом святости вокруг головы. О безопасности такого человека позаботится его эпоха. Нам надо охранять советского человека сегодняшнего дня, со всеми его слабостями и с его неимоверной созидательной силой. Не человека-мечту, а того Ивана или Онуфрия, с которыми встречаемся ежедневно, едва замечая их.

Всяческие ошибки наши и промахи враги, особенно закордонные, будут использовать для атаки нашего общественного строя, опутывая советских людей, менее опытных или попавших в беду, и подсовывая их под удары наших же

карательных органов.

Да, ясно все! За человека бороться надо. Охранять его надо от ошибок, одернуть, может быть, пока не поздно. Спасательный круг живому подавать надо. Мертвому он без надобности.

Надо, конечно, и наказывать. Но наказание — это списание добра с баланса, когда ответчик признан несостоятельным. Других это, может, и предупреждает, учит, но того человека и растраченного им добра нам почти не вернуть…

Наше положение становилось все более трудным. Понимали — советский человек вправе требовать от нас защиты. Понимали также, что прошлогодний бандитский налет на Газимуре — не единственный прием и не последняя попытка японской военщины и белой эмиграции.

Краевое управление предупреждало: зарубежные диверсионные группы намереваются нанести удары по машинно-тракторным станциям, колхозам и совхозам в нашем тылу, по складам горючего, материалов и зерна на пристанях по Шилке. Намечается организация новых мятежей.

Не все спокойно и благополучно было и в нашей внутренней жизни. И не могло быть! Решалась судьба многочисленного и последнего эксплуататорского класса в стране.

Распадалось старое. Ломались устои жизни, сложившиеся еще в незапамятные времена, выдержавшие многие бури и казавшиеся вечными. Обломки старого, как бурелом, ложились на хилые ростки нового, заслоняли их и давили.

Осенью убрали первый общий урожай. Слабым он удался: сев был запоздалый и никудышная, расхлябанная уборка. Свою «лепту» в уборочную внесли и торгующие организации Сретенского округа. Всегда в магазинах спирту полно было, и казаки, когда деньги заводились и не было срочных работ, выпивали. Не скажу, чтоб так уж часто, но бывало. А тут все лето в магазинах — пустота. Томились казаки и скучать начали. К уборочной спирту завезли небывало много. Пароход «Пахарь» доставил и еще на плотах подбрасывали. Празднуй, казак, гуляй!

Казаки только малость во вкус вошли, как объявили «Спирт только на пушнину, на шкуры». Где казаку-охотнику брать пушнину в уборочную пору? Она к новому году появится. Собаки были, и на собачьи шкуры спирт тоже продавали. И казаки истребляли собак.

С болью в сердце я наблюдал, как срываются уборочные работы, и, наконец, решил вмешаться. Предложил начальникам застав приглашать к себе самых именитых казаков и через них повлиять на односельчан.

Ничего не получилось. Все в один голос докладывали:

— Вызвал я и поговорил.

— Ну и что?

— Обещали. Проверял с утра. Все в поле выехали. Иные там и ночевали. В поле тоже выезжал…

— Значит, помогли ваши разговоры?

— Какой там! В стельку лежат, пьяные. Поехали на поле — и спирт в запас…

С недельку так погуляли. Недолго как бы, но прогуляли много. Хлеба перестояли, зерно осыпалось, и урожай стал и того хуже Пропала и зимняя охота. Без собаки не побелкуешь!

Все добро артельным стало. Общим называли, а обратили его в бесхозное. В кучу бросали неочищенные от земли плуги, культиваторы и бороны, купленные еще дедами и переходившие от отца к сыну.

Проходит казак мимо такого загромождения и глазами в той куче свой плуг ищет. Находит его, останавливается и вспоминает: за тем плугом он сотни верст по полям шагал, семью содержал и сыновей на царскую службу справлял. Лежит теперь этот плуг и ржавеет, и никому до этого дела нет. Постоит так казак малое время и думает свою думу. Махнет потом рукой и уходит шагом уставшего и во всем сомневающегося человека.

В отличие от россиянок, казачки без большого сожаления расставались с коровенками. Мало радости и было от забайкальских коров. Доится она, как коза, и только пять-шесть месяцев в году. Корми ее потом весь год и ухаживай. Правда, и уход за коровами был по их заслугам. Коровников не имели, и коровы всю зиму стояли под навесом вместе с конями. Подбросят им по утрам и к концу дня немного сена или соломы. К проруби на водопой сами за конями ходили, поскрипывая копытцами и скользя по скату. Тут не до молока!

Другое дело конь. Растет казачок, и хотя мал еще годами, но заботы о строевом коне волнуют родителей. Конь дорогой, и не всякий казак его с ходу купит. Много на него надо хлеба, беличьих шкур или бычков. Но конь нужен! Не пойти же казаку на царскую службу без коня, в пехоту, как мужику последнему Не позволит себе казак такого, и обществу зазорно. Копит отец рубль за рублем и к сроку все справит, либо родня близкая подсобит. Может и придется за эту подмогу батрачить у родного дяди от малолетства до самого призыва, но чтоб все было: конь, седло, шашка, шаровары и все другие До последнего двадцатичетвертного ковочного гвоздя.

Так берет свое начало большая дружба казака с лучшим из животного мира — конем. И эта дружба выдержит все. Службу

царскую, боевые походы, работу на полях и охотничьи поездки…

Не так нынче стало. Общие теперь кони. Обезличены хомуты и не чинят хомутин. Потертости у коней образовались и раны. Сдали в теле, осунулись. Подойдет, бывало, казак к своему коню, посмотрит и убегает:

— Ты, Рыжий, уж извиняй. Не по моей это воле…

Легче бы казаки разобрались во всем этом, если бы время дали. Ростки нового они скорее бы заметили и за свое бы признали. И новое росло. Многие небольшие артели начали проявлять экономическую активность и разумное ведение общественного хозяйства. Но времени казакам не давали. Одни торопили вследствие близорукости, может быть, и честной. Другие запутывали казаков, кричали и нашептывали, чтобы они в это новое не верили. А ростки нового были еще слабые и ярко в глаза не бросались.

Много в тот год приезжало в таежные поселки разных представителей и уполномоченных. Кто из округа, кто из края. Документы у них в порядке были, и разберись тут: откуда они и нужны ли они? Хорошо советские документы в Харбине подделывали и тут тоже, в Трехречье.

Другом, бывало, прикидывается, общих знакомых вспоминает. Родня почти, а сам — враг лютый.

— Смотри, казак, до чего дожили. До чего довели.

Хитро рассказывает и не так, чтоб многим вместе. Со всеми — только намеками. Неявственно чего-то обещает, но желанное. Мог и грозить:

— Не болтай, друг, понял? Жди нашей команды и подмоги жди. Нынче мы сила! Ну и кары нашей жди, страшенной, ежели что. Из-под земли достанем…

И казаки молчали или сообщали, когда уже было поздно. Может, в то желанное, что сулили, большой веры и не имели. Но кары страшились. Ясно было сказано:

— Достанем и спросим Не один я. Мы — сила!

И, бывало, доставали…

В приграничную зону такие «представители» не совались. По тыловой полосе шлялись. Пропуска туда не требовалось, власти были менее опытные и тайга под боком. Исчезнет внезапно, если опасность учует, и узнай куда. Может, в Читу подался, Хабаровск или тут, поблизости, в тайге ховается…

А коммунисты? Да, коммунисты были. В районном центре десяток членов партии и столько же коммунистов-одиночек по поселкам или по станицам. И все же это была огромная сила! На своих плечах эти коммунисты вынесли всю тяжесть по созданию колхозного строи и руководили, больше самоуком,

общественными хозяйствами.

Какой меркой сейчас измерить этот титанический труд? Нет у нас сейчас такой мерки. Другое есть — чувство глубокой благодарности.

Все было ново, все сложно и все в движении.

Многое мы уже знали, но многое оставалось в тени. И не всегда мы знали, где истина, а где уже и умно подсунутая легенда опытного врага, чтобы обмануть, чтобы по ложному следу направить.

Подсунули нам раз анонимку. Из Газимура якобы, из района прошлогодних событий. В основном ее содержание помню. Погуливали, пишет автор, здесь агенты врага из Китая. Множество повстанческих ячеек создали, и к весеннему ледоходу намечается большой мятеж.

Не верили мы этой анонимке, но сидим и оцениваем. Чесноков руководит. Старший он тут, и у него большой опыт и кругозор:

— Мог ли автор анонимки знать, что эти люди из Китая?

— Сомнительно. По слухам разве. Но откуда такие слухи и где они рождаются?

— Дальше: могли ли эти люди «прогуливаться» по селам?

— Нет! Это исключено. В тайге бы они скрывались, по зимовьям. Туда бы и казаков приглашали. Податливых обработали бы, и если что, втихую бы уничтожили.

— Мог ли автор узнать, что создано «множество повстанческих ячеек»?

— Нет, не мог! Одну, допустим, в которую его самого привлекли. Но ни в коем случае не больше. Конспирацию враги знают.

Решено было информировать штаб отряда и окружной отдел, что мы не можем отвлекаться на эту анонимку. Так и написали: не верим!

Общее мнение было такое, что непосредственно по линии границы нам никакие осложнения не угрожают. Следовало опасаться прорыва вражеских групп в наши тылы, к складам зерна, горючего и тракторным паркам. Темным пятном оставались верховья Урова, недавно включенные в нашу зону.

— Что на Урове? Как там? — спрашивало меня начальство.

— Проехал только и мало что узнал. Ново для меня все, условия с большими своеобразиями. Посевы и сенокосные луга там от поселков далеко. За десять и более километров. Настоящие строения, дома, и оттуда тропы на Чирень и на Шилку. Пока не все я понял. Для чего-то они железо на подковы

завезли? Казаки ж коней не куют. На войну только. Нескольких коней посмотрел. Чистые и холеные, хоть на императорский смотр…

— Настроения как?

— В том-то и дело! Никаких жалоб или претензий. Правда, мало я успел. С кем-то с глазу на глаз поговорить не удалось — табуном за мной ходили. Других дома не оказалось. Новую жизнь хвалят. Но врут они. Ничего нового они там не создали. И старое разваливается. Не нравится мне там. Потому и приехал, чтобы отряд информировать. И хотел бы еще там побывать. Тогда и исповедоваться проще было бы.

— Ладно, мотай! На трое суток, не больше. Приятель как там твой?

— Максим Петрович? Не застал. В Читу, говорят, подался. Для чего бы это? Партизанское удостоверение ему выдали. Значит, не из-за него. Разобраться бы и в этом деле надо.

— Ты с ним поговори!.

Это уж обязательно. Тяжелый он человек. Трудно с ним вести беседу. Но пока я ему доверяю…

Выехал еще до рассвета. По-местному, это время первого чая. Между прочим, в те годы казаки не пользовались часами и в обыденной речи не употребляли даже этого слова. В сельском быту большая точность времени не требовалась, и его отрезки определялись так: первый чай, второй чай, обед, поужин и ужин. По мере надобности добавляли: поздно вечером, в полночь и на рассвете.

Хотя и выехал до рассвета, но не повезло. Где-то пониже мороз заковал Уров до дна, и вода вышла на лед. И над новым ее уровнем лед тоже образовался, и как бы двухэтажная река получилась. Лед слабый еще, и по такому через реку не проедешь.

Можно бы через прииск Кудеинский. Подальше только будет, и знакомые у меня там есть. На чай пригласят. Но знаю я тот чай, приискательский! Под девяносто градусов…

Маленький был прииск и кустарный. Годовая программа меньше двухсот килограммов золота. Рабочих, соответственно, только несколько десятков. «Американка», деревянная эстакада для промывки песков, — вот и вся техника. Во всем остальном смекалка работающих, детей и внуков каторжан, их мускулы и силосвал на конной тяге — грабарка.

Умение этих рабочих — старателей, по-приисковому, — вызывало истинное восхищение. С каким мастерством, например, они подводили воду на вершину «американки». Брали ее в горах и по деревянным желобам, используя только плахи, деревянные клинья и хомутики, подводили за километр или больше.

Естественным замораживанием перекрывали не очень маленькие реки, чтобы отвести воду и разработать дно старого русла.

Решаю прииск миновать и пробираюсь через Лысую гору. Много тут гор и сопок. Опасные они и названия настораживающие. Винтовальная на Аргуни, Убиенная малая и Убиенная большая. А эта — Лысая на Уровне, — из самых коварных. Оползневая. В зимнее время еще ничего. Оползни к весне образовываются или летом. Правда, и сейчас трудно. От осенних оползней образовался уклон тропы в сторону обрыва. И скользко очень.

Коня послал вперед и сам иду за ним. Где тропа пошире или ровнее, он останавливается и меня ждет. Поощрения он требует — мягкого похлопывания по шее и голоса, конечно:

— Ну и молодец же ты, Горох!

Конь молодой. Пяти лет только и собственной выездки. Рыжий, высокий и хорошо сложенный. На вид тяжеловатый, но это обманчиво. Легкий он, быстрый и необычайно выносливый. Передние ноги в чулках и на лбу лысина. Словом, конь красавец и вдруг — Горох. С кличкой тут явно ошиблись, маху дали.

Лысая — не особенно высокая сопка. Метров пятьсот будет ли? Но мне несдобровать. Боится конь, трясется и покрывается испариной, в особенности там, где узкая тропинка прямо висит над обрывом. Но всаднику верит. Пока верит…

Спуск с горы еще трудней. На перевале остановился. Конь передохнул и успокоился. Пошли потом мало-помалу. Левой рукой за трензельные придерживаю. Правую кладу на храп. Слежу за глазами. Тревога в них и страх. Это уже опасно. Недалеко тут до потери веры в человека, и погубит он тогда — и себя и меня.

— Спокойно, Горох! Спокойно, понял? Приседай на задние, на задние! Ты же умеешь… Ну так, конечно, так…

Прошли спуск. Стоим у подножия, успокаиваясь. Конь свою голову на мое плечо кладет. Осторожно и тихо. Не давит. Ждет он, чтобы я его по верхней губе пальцами пошлепал. Любит он такое, и я люблю. Знает, ему — тут и кусок сахара положен. Впрочем, и на соль соглашается. И от кусочка колбасы тоже не отказывается. Московской только, копченой и сильно соленой. Вареных сортов не признает.

Дальше уже равнина почти и всего семьдесят километров. Одна только сопка перед поселком Ассимуни. А что мне и моему Гороху семьдесят километров и одна сопка!

Я и раньше встречался с Максимом Петровичем и немного знал его. Но те встречи были случайными, а эта беседа долгая и откровенная с обеих сторон. Тяжелым собеседником он оказался,

озлобленным. Хорошо еще, что прямой. Жалоб не высказывал, но первоисточник его озлобленности был мне понятен.

Все забайкальские партизаны двадцатых годов получили от имели правительства особые «Партизанские билеты», предоставляющие их владельцам моральное удовлетворение и значительные материальные преимущества. Эти билеты вручались особо торжественно, на общих собраниях, начиная с наиболее заслуженных и старших по должности.

Максиму Петровичу, командиру партизанской сотни, такого билета не дали. Отказали ему в этом публично, на собрании:

— Мы, Максим Петрович, твои заслуги и твою лихость помним. С великой бы радостью тебе первому билет выдали, но не можем. Отказала тебе Советская власть. Говорит, что не активен ты ныне стал.

Так поступили с ним незрелые и близорукие люди. А может, и неверные.

Долго волынили с выдачей «Партизанского билета» Максиму Петровичу. И когда, наконец, решили этот билет ему выдать, районные власти сделали это как бы от себя. Не на собрании, как всем, а при случайной встрече:

— Мы тут, Максим Петрович, между собой обсудили и решили этот билет тебе выдать. Бери на и владей.

Дело было сделано. Нанесли рану, и от нее остался рубец.

Сидим, говорим, курим и спорим:

— Нет, Михалыч! Казак я. Куда казаки, туда и я.

— Не то говоришь, Максим Петрович, не то! Разве казак не предупреждает других окликом «Под ноги», заметив яму на дороге, острые камни или стекло?

— Но это ж, чтоб коней не покалечили, а ты хочешь…

— Хочу, чтобы казаков не калечили, чтоб им вовремя сказали: «Казаки, под ноги». И кто им это скажет, как не ты, партизанский сотник? Тебя знают и тебе верят…

— Сделано, кажись, все, чтоб мне не верили… и надо еще знать, где эта яма, чтобы не зря брехать…

Долго беседовали, до первых петухов. Не скрывал он своего недовольства в одном и сомнений в другом:

— Не я толкаю казаков на неверную стежку. Верный путь им покажу, если сам его увижу. Скажу ли тебе? Вряд ли… уж после, может, когда. Верю я, добра ты казакам желаешь, только цены того добра не угадываю…

Тут же, как бы мимоходом, и меня одернул:

— Ты, Михалыч, богато людям добра не сули! Не всему ты голова.

Пора прощаться.

— Ну что ж, Максим Петрович. Спасибо за откровенность!

— За что спасибо-то? Общую правду ищем…

Общую правду? Ну, конечно же! И где ей быть, как не тут, между трудовыми казаками и Советами. И эту правду я знал, вообще знал. Только в ту ночь она не давалась мне. Кажется, ни в чем я не сумел разубедить моего давнего друга, и может так случиться, что мы и советская власть потеряем его. Это я видел, а сделать ничего не мог.

Не с одним Максимом Петровичем я побеседовал. В правлении колхоза и в поселковом совете встречался с казаками. Только мало толку было. Как и в первый приезд, с глазу на глаз ни с кем не оставляли и за мной табуном ходили. Следили, должно быть. Но и это дало кое-что: опасение надвигающейся беды усилилось. Сюда надо вернуться немедленно. И теперь уже на пару недель, не меньше. Надо побеседовать с десятками казаков и не жалеть ночей на беседы с Максимом Петровичем. Надо обследовать все зимовья, пади и долины, где они, засланные, могут быть, и все таежные тропы в Богдати и на Шилку через Газимур.

Я понимал, что начальство не будет удовлетворено и итогами моей второй поездки. Но мне ясно: зреет новый мятеж. Прямо об этом, разумеется, начальству не говорю, а чтобы сами сделали вывод. Докладываю, что некоторые казаки строевых коней дома держат, подкармливают…

— Как объясняют?

— Разно! Врут только. То в тайгу выезжал и коня вернуть не успел, то жинка овса нагребла и пристала: «Приведи строевого! Пускай поест, а мы с детьми на него поглядим…» Казачка ж она…

— И это все?

— Почти! Заметил еще, что казаки меня еще больше остерегались, чем в первый приезд. Как ни ухищрялся, с глазу на глаз ни с кем не оставили.

— В пути что?

— Не останавливался. В темноте проезжал. Времени не имел.

— Друг твой как?

— Сложнее он, чем я думал, и более значительный. Если он враг, то опасный.

— Думаешь, не враг?

— Знать бы! Пока не враг, думаю. Откровенный очень и прямой. Не встречал такого среди врагов. В оборотах речи у него есть слова, которые у казаков не уловишь. Откуда бы они? В городах часто бывает. Может быть, эти слова оттуда…

— Часто выезжает?

— За эту зиму уже два раза побывал в Чите. Это тоже

загадочно. Если бы враг был, не стал бы он высовываться и тихо бы сидел до своего часу…

— Не напугал ты его? Не сбросится ой, как напуганный конь?

— Нет! Разговор был степенный, почти доверительный. И он не истеричка. Расчетливый человек и смелый. В поселке никаких постов не занимает, но всему он там голова, и без его участия и благословения ничего не произойдет.

— План наметил?

— Самый общий пока. Немедля вернуться туда недели на две. Все изучить там, а также побывать в Алашерах и Талакане. Самому проверить все зимовья, скирды в тайге, тропы в сторону Богдати и на Газимур и Шилку. Не жалеть время на беседы с людьми…

— Ладно, езжай! Десяток суток хватят?

— Мало, наверное. Дело покажет.

— Конь как?

— Досталось ему. На передние жалуется. Дорога очень жесткая была. Хороший массаж сделал. Может, придется перековать.

— Коновода берешь?

— Нет! Реки опасные стали. Мало ли в пути… И скорость не та.

4

На следующий день я и выехал. Только не в верховья Урова, как наметили и где работа оставалась только обозначенной. Совсем на другую сторону меня направили — в Берню, на Чирень и Будюмкан. Должно, эта анонимка такой переполох в крае подняла! Шифровка ночью пришла: «По заслуживающим доверия источникам», — и дальше, почти точно, как в той анонимке. И меня туда персонально, без права выезда.

Бегу к Чеснокову:

— Напутали! Названия сел путают. Мы ищем в Усть-Берне, вообще в верховьях Урова, и кое-что уже прощупывается там, а тут Берня сказано. Это ж черт знает где. И зона не наша. На анонимку клюнули…

— Не тарахти! Я тоже так вначале думал. Разобрался потом. Тут же название еще Чирень и Будюмкан. Они все в том краю.

— Может, и так. Может, там свое и на Урове свое. А если общее, то мы ближе к истине на Урове. Там и искать надо! Может, разрешат в Берню Васильева направить? Я бы начатое на Урове заканчивал…

— Говорил уже. Не прислушались. Приказали на Уров Васильева послать по мере надобности…

— Но в Урове я что-то уже делал?! А в Берне мы равные. Оба там ни хрена не знаем…

— Говорил. Тебе ехать надо, и послушай мой совет: не торопись с выводами! Не считай с ходу, что руководство ошибается. На Урове мы тоже не очень далеко вышли. Все может быть, понял? Времени у тебя много. Проверяй все хоть десять раз и уж, потом напиши! Ты как, через Урюпино?

— Нет, далеко будет. Сегодня до Лубнии и там прямо по тропе на Чирень. Завтра к вечеру буду на месте.

— Нарочных куда направлять? Где тебя искать?

— Пускай подождут в местном совете. Я их там сам найду.

Выехал, хотя ехать и не хотелось. Особенно смущало почти полное совпадение наименований населенных пунктов. Я в Усть-Берне искал и что-то уж нашел, а тут Берня сказано! Может, высокое начальство ввела заблуждение карта. На карте есть только Берня, станица. Усть-Берня — поселок, и на карте его нет. Или для телеграфа название сократили? Пронизывала тревожная и обидная мысль: а если нас одурачивают? Ту анонимку, как приманку, подбросили и на крючок ловят? Неужели попались? Все внимание на Берню, а мятеж вспыхнет в Усть-Берне?..

Ехал быстро, и к вечеру следующего дня в Берне

представился уполномоченным окружкома по посеву. Это хороший зонт. Объясняет продолжительное пребывание в селе и оправдывает назойливость. Уполномоченный обязан все знать! Пограничник даже в такой роли не в диковинку в те годы.

Хотелось иметь некоторую свободу действий, и чтоб за мной табуном не ходили, не следили, я иду на некоторый риск:

— Плохо, казаки, к севу готовитесь. Даже железа не завезли.

— Это, позвольте, товарищ уполномоченный, железа по какой надобности?

— Как по какой? Пахать-сеять на конях будете. Ковать коней надо?

— Отродясь коней к посеву не ковали. Они ж не только себя — друг друга шипами покалечат…

Переглядываются казаки, ухмыляются. Вышло, кажется. За несмышленыша приняли и следить не будут. Не опасен для них такой, даже если бы что и намечалось…

За неполные сутки осмотрел и пересчитал коней. Много сотен их под навесами. Худые все, заморыши. На таких казаки не выступят. Две пары в хорошем теле — выездные председателя Совета и председателя правления артели.

Накоротке побеседовал с несколькими казаками и уже к вечеру настрочил донесение. Написал немного, но заносчиво: никто из посторонних сюда не приезжал, никаких повстанческих ячеек тут не создавал. Все это — брехня! И делать тут этим агентам нечего! Одна только и есть опасность — развал колхоза и провал всей посевной кампании. Добавил, что и мне тут делать нечего, на Уров просился, где осталась незаконченной работа.

Ответ получил через десять дней. Удивлялось руководство, как я решился на такие выводы и обобщения, ничего толком не изучив? И насчет колхоза хорошо указали, доходчиво: кто мешает мне помочь этому колхозу, раз я все его слабости так хорошо с ходу выявил? Сухо и жестко требовали работы, а не языкоблудия.

Не скажу, чтобы напрасно обидели. Могли бы написать и более наваристо. А ведь еще и Чесноков предупреждал: не торопись, дорогой, с выводами!

Не отлеживался я в ожидании ответа и был сейчас куда более осведомлен. Встречался с десятками казаков, и мне помогал многочисленный актив станицы. По большой окружности были осмотрены все зимовья, шалаши, отдаленные поля, имеющие какие-либо постройки для жилья, и подступы к станице. По ночам патрулировали дороги и выставляли слухачей — не лают ли где собаки, не скрипят ли двери пли калитки? Ничего не обнаружилось. Всюду тишина.

Второе донесение послал более серьезное. Показал объем проведенной работы и мои план действий на ближайшее время. Не скрывал, что никакой опасности здесь не вижу, но и на Уров тоже не просился. Кто бы меня теперь туда послал, ветрогона такого.

Но я в разрешении теперь и не нуждался. Кое-что надумал.

В станице я один, без надзора, и мои выезды в тайгу руководство не ограничивало. До Усть-Берни и обратно мне хватит трех суток: За такое малое время мое начальство сюда не успеет и местные товарищи искать не будут — мало ли почему в тайге задержался! И объяснение нашел первосортное, если бы даже в Усть-Берне со своими встретился: отдаленные зимовья проверял, в темноте сбился с направления и чуть было не погиб. Двое суток в тайге плутал и по следу случайного охотника добрался сюда. Если не поверят, так пускай проверяют. В тайге не такое случается!

Так все почти и получилось, по моей легенде. Сбился с направления и только в следующую ночь зашел к Максиму Петровичу.

— Нету Максима. С казаками в карты, должно, играет. — Это мне его жена, моложавая еще казачка, сказала.

Максим Петрович — и в карты в такой поздний час! Не верилось, но уточнять не стал.

Усталость одолела, и я уснул на покрытой попоной лавке у стены. Проснулся внезапно, как от удара. При тусклом свете коптилки различил силуэт Максима Петровича, с топором и бруском в руках, сидевшего у моих ног. Я не испугался, я его вообще не опасался. Если он и враг, то солидный и сонного у себя дома не ударит. Не позволит себе такое! Уставший я был очень и даже толком не проснулся.

— Что не спите, Максим Петрович?

— Сон что-то не идет. Топор вот проверяю. Обещал тут соседке-солдатке с утра кабана освежевать… и поговорить бы надо, Михалыч…

— Может, утром поговорим, Максим Петрович?

И тут же, погружаясь в тяжелый сон, еле уловил:

— Можно и утром, Михалыч…

Недолго я спал, час или два, но проспал то, что мне давалось. Утром Максим Петрович меня избегал. С глазу на глаз не оставался. Днем, когда я отлучился в поселок, он вовсе исчез.

— Казаки приходили, и Максим с ними в тайгу подался… с мясом у нас худо. — Это опять его жена.

Врет, вижу, и еще не умеет. Не в мясе дело! Без свежины соседка бы Максима Петровича не отпустила. Да и сам он в

достатке жил. Богатым его не назовешь, бедным — тоже. Доха его тут висела, тяжелая, праздничная, видать. Нету ее сейчас. В такой дохе он в тайгу не поехал. И кошевки нету. Так в тайгу не выезжают. Туда верхами, чтоб и по звериному следу пробиваться…

Теперь все стало ясным. Колебался Максим Петрович ночью, маялся. Какое-то решение ему принимать надо было, и он, может быть, понимания искал и поддержки. Что-то сказать хотел, а я ему:

— Может, утром, Максим Петрович…

Переболело у него, пока я отлеживался, и он другое решение принял. Какое, о чем?

В Берню вернулся тем же путем, впрямую только, за один хороший переход. О своей самовольной поездке никому не сообщил. О многом бы сказать надо было и многое на себя принять. На это многое меня не хватало…

Оставалось последнее — настойчиво добиваться перевода на Уров. И я начал писать просьбу за просьбой. Писал так много, что мне перестали отвечать. Надоел всем, видать, и особенно-то там во мне не нуждались.

Время шло, и когда до Первомая осталось несколько дней и в Берне все было спокойно, я, самолично выехал на место постоянной службы. Доложу, думал, моему начальнику. Все ему расскажу. Чесноков умный человек и смелый. Не испугается и не может он меня не понять. Коня у него спрошу, если своего обезножу в такой езде. Попрошу пограничников и махну на Уров. Если там ничего не произойдет — по знакомой мне тропе вернусь в Берню и буду сидеть в станице хоть до второго пришествия. Кто знает, думалось мне, может, я еще и успею сказать: «Под ноги, товарищи казаки, под ноги!»

Ехал очень быстро. Гнал коня, как никогда себе не позволял. Не щадил и себя. Часто бежал рядом с конем, и все подъемы и спуски пешком. К утру проехал половину пути, километров семьдесят. Конь хотя немного и устал, но бежал еще охотно. Знал я его и верил. Одну остановку, думал, сделаю у Сахарной головки — так одно место там называлось, — накормлю коня и там уж безостановочно до места.

И тут Горох захромал на переднюю. Слегка вначале, а потом все больше и больше. Осмотрел ногу и сразу ничего не заметил. Подкова на месте, стрелка не помята, копыта и бабки холодные. Понял потом — лопатка, плечевые сухожилия. Боже мой, как допустил такое! Теперь уж только шагом. Я впереди и конь за мной. Как трудны эти километры для уставшего человека и обезноженного коня! Успокаиваю Гороха:

— Ничего, друг Горох, не робей! Не оставлю я тебя в тайге, понял? Мы еще повоюем, Горох, рубанем…

Только поздно вечером, около полуночи, я встал перед моим начальником Он был встревожен и озадачен:

— Почему ты здесь? Что случилось? Отряд на проводе с Хабаровском. Ждут твоих сообщений… уточнено уже — начало в ночь на 1 Мая! Это ж сегодня…

— Саша, — только в семейном кругу я так называл моего начальника и друга, — ни хрена там не будет. Поверь мне, Саша! Не такой же я идиот, чтобы за месяц не разобраться. Одурачили нас, приманку тогда подбросили и на крючок наши попали. На Уров мне надо, Саша…

— Отряд Уров взял на себя…

— Врут они! Ничего там отряд не делал. Был я там…

— Ты оттуда сейчас? Не из Берни разве?

— Говорю… я там бывал. Туда верных людей посылал… Там все может быть. Дай мне поспать часа два и коня своего дай. Гороха я обезножил. И пограничников звена три мне дай. На верховья Урова поеду. Может, еще успею. Оттуда я один в Берню переберусь. Тропа там есть, я ее знаю…

Понял меня мой начальник и — поверил. Пожалел даже, наверное. Уж очень я был уставший и издерган.

— Ладно, иди спи! Сделаем, как говоришь. Моего коня бери, и пограничников дам. Будем считать, что ты из Берни никуда не выезжал. В тайгу разве только… На худой конец выдумаем легенду, выкрутимся…

— Не будет там ничего…

— Ладно, иди спи. Самойленко группу подготовит и тебе позвонит.

Хотел просить, чтобы Чесноков мне еще и Сашу Самойленко дал, но не решился. Знал я, не даст он его, и я бы не дал. Нужен он тут, в особенности в такое тревожное время. Красноармейцем поступил к нам этот рыжеватый ачинский сибиряк с мальчишескими веснушками.

Настойчивостью и трудом за пару лет Самойленко вырос в деятельного и умелого оперативника-следственника с большой пробивной силой. Его любили все. Товарищи и старшие по службе верили в него, и на этом — основа любви к нему и дружбы. Товарища и брата в нем нашли наши женщины и он был для всех и братом, и другом. Конечно, женщины его и эксплуатировали. Узнав, например, что Самойленко в районный центр собирается, довольно отдаленный, женщины тут как тут:

— Саша, милый, соски привези моему малышу, которые для молока, и таких…

— Знаю! Сам сосал.

— Мне резинки, Саша. Дамские проси. Знают они…

— Сам знаю. Второй год вожу…

В ту ночь, на первое мая 1931 года, я уснул спокойно. И не только из-за усталости. Знал я: раз подготовку людей и коней поручили Самойленко, значит, все будет и правильно и вовремя…

Еще раз мы с ним встретились на западной границе. Я к себе его приглашал и обещал мигом оформить перевод, службу подходящую и продвижение. Не согласился Самойленко:

— Не настаивайте, прошу вас. Я ваш ученик и мыслю вашими категориями. Сейчас хочу свои силы попробовать в иной среде. Может, после когда-либо…

В сорок первом встречались довольно часто. Самойленко учился в Москве, и по воскресеньям приезжал ко мне в Кусково. Он забавно рассказывал, как его приняли в это учебное заведение, доступное далеко не всем желающим.

— Вы же знаете, в образовании у меня довольно большой недобор и на том нужном языке я и плакать не умею. Понимал — отчислят и по утрам искал в списке отчисленных свою фамилию…

— Ну, и как же?

— Не догадываетесь? Посмотрите на меня хорошенько! Ничего не замечаете?

— Ничего, будто…

— Вот в том-то и дело! И все так! Только сопливые девчонки еще в школе эту мою благодать заметили, рыжим называли, а мои брови поросячьими. В них-то и вся сила оказалась. Дошло?

— Признаться, не очень.

— Это ж так просто. Когда меня пригласили в приемную комиссию, ее председатель поднялся со стула, обошел вокруг меня, осмотрел со всех сторон и пришел в неописуемый восторг:

— Принять! Без всяких оговорок принять…

— У него, видите ли, образование…

— Наплевать! Мы же школа, научим! Вы только посмотрите на цвет его волос и бровей! Во всей Германии нет ни одного мужчины, так похожего на истинного немца, как этот старший лейтенант. А уши, обратите внимание, оттопырены как раз в норму…

Так меня приняли в школу, — и ничего. Не отстаю в учебе.

После войны я долго разыскивал Сашу Самойленко. Написал немало заявлений и писем, но мне не ответили. Нашли, что раз я никем не прихожусь разыскиваемому, как и он мне, значит, я просто любопытствующий, которых всегда хватает.

Чеснокову, — он уже давно был генералом, — ответили:

погиб Самойленко осенью сорок первого в районе Старой Руссы.

Могли бы встретиться там, но не довелось.

Я только уснул, кажется, как продолжительный и резкий телефонный звонок поднял с постели.

— Что? Утро уже? Коня подали? Ты, Саша?

— Тревога, товарищ начальник. По заставам команда «К бою».

«К бою»? Не «в ружье» даже? Значит, что-то опасное очень и серьезное. Прибегаю. Мне близко. Через дорогу только и маленький манеж. Чесноков меня опередил или, скорее всего, он тут ночь и провел за столом, у телефона.

— Сергиенко доложил из Нижней Вереи: в сторону Ильи замечена перестрелка из большого числа винтовок и были слышны взрывы ручных гранат. Телефон с Ильинским постом не работает. Сергиенко на лучших конях выехал на выручку. Ты займись с оперативной. Я буду у телефона.

— Коля, — кричу я Васильеву. — Подними группы содействия на прииске, в Мальках и Закамнем. Следи, чтобы командиры групп непременно сидели у телефонов и дежурные тоже. Я занят с заставами.

Разрабатываем план. Без суетливости и молча.

В действие предполагаем включить четыре пограничных заставы. Крайняя — восточная — занимает не только свой участок, но и полностью участок соседней. Наличный состав освободившейся заставы поступает в распоряжение сформированного отряда.

То же самое осуществляют третья и четвертая заставы. Таким образом и набрался небольшой кавалерийский подвижной отряд. Скромный по числу всадников, но ведь это пограничники!

Всем скорость максимально допускаемая — один крест. Это означает, как можно быстрее, но сохранить коней.

Мучительно медленно проходит время, и напряженность все нарастает. В Илье только временный пост и малочисленный. И здание временное, стены не укреплены от пуль, нет окопов и скрытых выходов. Командует этим постом младший командир срочной службы, не обстрелянный. Далеко нам до Ильи, часов шесть-восемь на лучших конях. Значит, мы Илье не поможем. Сергиенко ближе, часа два всего, если пожертвовать конями. Но и два часа — это 120 минут боя! И как погубить коней! Теперь надо и на это идти. Граница там открытая, и гибнут люди.

Вызывает Чесноков, всех бегом. Налаживается связь с Ильинским постом:

— Илья? Это Илья? Кто разговаривает? Назовите фамилию,

имя и откуда родом?

— Понял! Узнал. Большая банда напала? Отбились и потерь не имеете? Молодцы! Обнимаю, благодарю!

— Куда ушла банда? В наш тыл или через границу в сторону Урова? Понял!

— Убитого оставили? Немедленно позвать местных казаков для опознания трупа… Были уже? Кто? Убитый Пичугин Максим Петрович из Усть-Берни? Да, понял, понимаю…

Чувствую, как краснею и горят уши. Все теперь так ясно, обидно и унизительно… Многое знает и мой начальник. Вида только не подает. Не знает он только, как я этого Пичугина упустил. И никогда не узнает, потому что я ему этого не скажу. Не из-за страха. Хуже — из-за стыда.

Встать бы мне надо было в ту ночь! Рассказал бы он мне тогда или в разговоре — правду бы уловил. Или опасность хотя бы. А я ему:

— Может, утром, Максим Петрович…

И днем, когда он исчез, еще не поздно было. Приехать бы сюда надо было и настоять на аресте! На Урове переполох поднять и не наших, неверных выявлять в шумихе.

Правда, мало я тогда еще знал. Решимости было еще меньше…

Тут же меня назначили командиром сформированного отряда, и первый, самый общий приказ: «Немедленно выступать вверх по Урову. Насесть на след банды, неустанно преследовать и уничтожать. Не допускать истребления бандой советских людей и ее прорыва в Китай».

Провожая, мой начальник обнял меня:

— Действуй, дорогой, по обстоятельствам. Там тебе виднее. Первое донесение вышли из Ассимуни. В дальнейшем ежедневно — мне или в штаб отряда, куда ближе…

5

По выезде из станицы, на открытой поскотине — малый привал. Обычно это для проверки седловки и вьюков делается, а тут еще и особенное назначение — информация личного состава об обстановке.

На Ильинский пост напала неизвестная банда. Пост отбился и потерь не имеет. Банда удалилась в сторону верховьев Урова. По-видимому, в ее составе часть местных казаков из уровских селений. Наша задача — преследовать банду и уничтожить ее, не допуская убийств советских людей. Фронт внутренний. Поэтому никому никакого доверия и никакого открытого недоверия. Всюду сдержанность и молчаливость. Переходы будут большие. Следите за потниками и вьюками, подковами…

Да, фронт внутренний, и даже такой информации в населенном пункте или в лесу давать нельзя было. Могут подслушать, а в тайге еще и обстреляют с малых дистанций.

Переправа через Уров была трудным и опасным делом. Вода поднялась на метр и вышла на лед, образуя как бы вторую реку над льдом. О проезде через Лысую гору не могло быть и речи. По таким тропам конные группы не пройдут, и любой вражеский болван там бы всех перещелкал. Иного выхода не было, и решаюсь на переправу бродом, группами. Реку преодолели благополучно. Тут же, за последними конями, лед поднялся и на Урове начался ледоход.

К наступлению темноты достигли Горячих ключей, еще одного из чудес Забайкалья. Горячие ключи — настоящее озеро на склоне довольно высокой отлогой сопки. Вода в нем горячая и, как говорили, в высшей степени целебная. Съезжаются сюда к лету больные. Много их, десятки или сотни наберется. Разные у них хвори людские: у кого туберкулез, кто желудком мается, на ломоту жалуется, или — женские. И все сюда, надолго. На все лето. Отроет лечащийся себе яму-ванну у берега, подходящую по размерам, и сидит в ней часами и днями, лишь изредка обновляя воду. И так все лето.

Кому-то польза от такого лечения. Иначе бы слава об этих водах не распространялась. А слава эта велика, и вера в целебные свойства этой воды непоколебима. Как-то в зимнюю пору на тропе встретил казака. Из Марьина он был, и мы немного знали друг друга. Слезли с коней и закурили.

— За водой поехал с двумя четвертями. Моей бабе бревнам ногу переломило, и эта вода на примочки пользительная…

С полуночи, с большими предосторожностями, с тыловой

стороны вошли в поселок Ассимуни. Казаков дома не оказалось. Казачки одни, малые дети и старики. Казачки злые. Шипят как гадюки и повода для ссоры ищут:

— Сказано тебе — нету казаков! Под подолом не держим. Аль показать тебе надо?

— Благодарствую! Нужды в этом нет.

— Не хочешь? А, может, я как раз тебе показать хочу. На, погляди! — И, нагибаясь, поднимает юбку.

Попов прибежал. Он помощником по политчасти был, и уже весь поселок облазил:

— Ты тут что-нибудь понимаешь? Казаков увели…

Пока я только одного Попова понимал. Ему политдонесение послать надо, и потому в нем такая резвость родилась.

— Повремени малость! Охрана выставлена, оборона организована и нашли коням укрытие от пуль. Разведка тоже вышла в Талакан. Людей сейчас накормим и будем писать каждый свое. Ты политдонесение, а я — боевое и разведсводку.

Сели мы с ним у мерцающей коптилки. Сидим и курим. Ничего не пишем. Я на свой палец смотрю и Попову его показываю. Попов головой мотает. Значит, с пальца высасывать не хочет. На потолок потом показываю и на палец тоже. Он опять головой мотает. Значит, и комбинированно, с потолка и пальца, тоже не хочет. И я не хочу и не могу. Конечно, Попов лицо ответственное, но, на худой конец, он может ссылаться на мои ошибки. Мне ссылаться не на кого. Обстановку изучать надо, а она как старая высохшая коза. Ничего не выдоишь!

Но вот первое донесение от разведки из поселка Талакан. И там казаков дома не оказалось. Приехала туда мятежная группа, со взвод примерно, из Усть-Берни и Алашери. Подняли казаков по тревоге и увели. Несколько местных жителей встретили эту группу на конях, с винтовками и шашками. Видно, все сговорено было заранее. Насилий не было, колхоз не разгромлен и семенной фонд в сохранности.

Маловато этих сведений, и мы анализируем то, что знаем.

Выступили казаки четырех поселков: Ассимуни, Талакана, Алашери и Усть-Берни. Строевых казаков в них от силы полтораста. Добавим еще пару десятков стариков и подростков и, допустим, десяток главарей из Китая. Может быть, еще беглых столько же. Всего никак не более двухсот человек.

Политические лозунги либо не выставлены, либо нам выявить их пока не удалось.

Вооружение достаточное. Винтовки у казаков остались еще от времен Дальневосточной республики, а патроны по семь копеек за штуку «Охотсоюз» доставлял в неограниченном количестве в

любой поселок. Гранат тоже много. Хранились они в тайниках и доставлялись из Китая, как и, возможно, ручные пулеметы.

Лошади хорошие, в теле и выносливы.

Казаки — охотники, и тайгу знают до больших глубин, измеряемых сотнями километров.

Возникали недоуменные вопросы. Почему не было насилий? Почему не разгромлены колхозы?

Прямого ответа на эти вопросы мы не имели и пришли к выводу, что до нападения на Ильинский пост истреблять актив и громить колхозы мятежники боялись. Как бы мы об этом не узнали! Отложили на более позднее время.

Но нам ничего не известно, что произошло с ватагой после неудачи в Илье.

На Ильинский пограничный пост напали, по-видимому, вследствие ряда причин. Чтобы связать всех в банде страхом наказания за общее злодеяние. Успешным налетом на пограничный пост поднять «боевой дух» тех, которые колебались. Знали они, что в Илье малочисленный временный пост, но его разгром можно бы выдать за разгром целой заставы, и это свидетельствовало бы о большом размахе повстанчества.

После неудачи в Илье положение осложнялось. Главари вынуждены будут принимать самые срочные меры к укреплению спаянности ватаги, и теперь надо опасаться убийства и бывших комбедовцев, даже из числа таких, которые по ошибке или из-за страха присоединились к банде.

— Значит…

— Нельзя давать им покоя. Надо…

— Ну и голова у тебя, дорогой! Только не по чину досталась. Я тоже именно об этом думал, товарищ Попов. Самое бесчеловечное сейчас — половинчатость и медлительность. Будем неотступно преследовать до последнего издыхания. Ни минуты покоя. Но и этого мало. Давай попробуем и слово. Напишем воззвание к казакам, в тайге налепим их и всюду на стенах общественных зданий!

Попов согласился, и мы сочинили примерно такое обращение:

Товарищи казаки!

Кто вам говорил, что вы против Советской власти? Вранье это и чепуха. Какие же вы враги трудового народа? Ошиблись вы, и за эту ошибку мы вас

наказывать не будем. И за Илью не накажем. Ничего у вас там не вышло, и мы потерь не имели. Вернитесь домой! Пахать и сеять пора. Коней сдавайте, где брали, и оружие нам сдавайте! Беритесь за посевные работы. Никакого наказания вам не будет.

Людей только не обижайте и не троньте общественного добра!

Вернитесь домой, казаки! Побаловались и будет!

Обсудили с Поповым наше творение и крупно подписали. Знай наших!

Я настолько гордился этим нашим обращением, что копию его приложил к боевому донесению. Через несколько дней получил новый боевой приказ и оценку моих боевых действий. Вообще-то все одобрили, но я был немало удивлен, узнав, что правом наказывать или амнистировать я вовсе не наделен. Оказывается, такое право принадлежит только самой что ни есть верховной власти. Особенно не ругали, больше добродушно ухмылялись…

— Попов! Ты это читал?

— Специально послали. Не поленились… А что им еще с нами, болванами, делать!

Хорошо мне с Поповым. Толковый человек и деловой! На вид только тихоня.

Напав на след ватаги, начали яростное преследование. Издали щекотали нервы пулеметами и при малейшей возможности бросались на рубку. Мятежники боя не принимали и, меняя лошадей, уходили в глубь тайги. Заводные кони у них были, и в этом их преимущество. Хотя наши кони лучше казачьих, но они выбивались из сил. Потников сушить некогда было, и появились потертости.

Попов предлагал дневку. Иначе коней погубим.

— Нет! Никакой дневки. Упустим — где потом найдем? Помет смотрел? Овсом уже не кормят!

— Вымотают, чтоб потом напасть…

— Нет, не до нападения им. Неудача в Илье и потеря командира выбили их из колеи. Банда какого-то выхода ищет или чего-то ждет. Что она может ждать? Либо прибытия больших новых сил, либо примирения с нами. На новые силы у них уверенности нет, но на примирение надеются. Потому они и избегают столкновения с нами, избегают появляться в населенных пунктах, и за десяток дней уже не было ни одного акта насилия…

— Значит…

— Преследовать, товарищ Попов. Ни минуты им покоя!

Так мы и делали. Но «воевали» и наши обращения. Попов за ними следил и однажды сообщил:

— Воззвания все сняты. Не рвут их, а аккуратно снимают.

А вот и первая ласточка, казачище огромного роста с лихими усами. Встречал я его, когда тот за пропуском на охоту в Китае приходил. Талаканскнй, не то Илларион, не то Илларионович. Хороший он хозяин, говорили, и охотник что надо. Плут только несусветный и рука у него с клеем. Прилипает к ней чужое добро.

— По этой бумажке я, значится. Из тайги сдаваться пришел. Коня под навес поставил колхозный. Подковы снял… шашка вот…

— Винтовка где? Патроны и гранаты?

— Не было у меня. Обещали, когда Илью возьмем.

— Вон отсюда! Иди откуда пришел! Сказано было — с оружием! Ну, пошел!

Вернулся через час. Винтовку принес, патроны и две гранаты. Японские, с фитильным шнуром для бросания.

— Извиняюсь, начальник. Ошибка вышла. За поскотиной ховал… Может, думаю, еще сбежать придется… Запал один затерялся. В земле, может…

— Убивал?

— Что вы, начальник, отродясь смертоубийством не занимался…

— Грабил? Чужое добро к руке прилипало? В сумах что?

— Наговорили, начальник, завидуют которые…

— Ну, тогда — пошел!

— Это, позвольте, куда же мне теперича?

— Что, дом свой забыл? И чтоб с утра на работу!

Пошли потом десятки за десятками. И всем одинаково — оружие положи, коня сдай и с утра на работу. Никаких допросов или уточнений — ничего!

Однажды в тайге к нам подъехала казачка из Ассимуни, молодая и бойкая:

— Казаки вернулись. Дома все, и коней вернули. Оружие при казаках. Сдавать его некому, и чтоб слово им какое сказали… Самим им неловко и опасаются которые. Вот меня послали.

— Ты бы и приняла у них винтовки.

— Не можно, начальник, чтобы баба у казака оружие отбирала. Запутались они и виноватые, но так обижать казаков негоже…

— Ладно, убедила. Сложить оружие в поселковом Совете. Записать, кто и что сдал. Приедем и проверим. И чтобы охрана была. С утра все на работу. Никакого слова им больше не будет!

Поняла?

— Как не понять! Все поняла…

Попов, видать, не сразу меня понял.

— Поеду к ним, поговорю.

— На черта это! Все они великолепно понимают. Боятся, конечно. Но пусть и помучаются в неизвестности. И такое наше к ним пренебрежение тоже немалое наказание…

Долго и тщательно подготовленный мятеж провалился, не нанеся нам заметного вреда. Все казаки вернулись в свои поселки. Убито два человека. Пичугин Максим Петрович, главарь этой ватаги, был убит при нападении на Ильинский пост, и нелепо, от случайного выстрела, погиб молодой казак Закаменского поселка, активно помогавший нам.

Пять человек остались в тайге.

Казаки дружно приступили к полевым работам. Пограничников отозвали. С ними уехал и Попов. Меня оставили только с тремя бойцами, чтоб вернуть из тайги оставшихся там последних беглецов. Они не более других были преступные. Более пугливые только, из таких, которые боятся скрипу пароконной повозки. Задание самое простое: отыскать их и сказать, чтобы домой шли. Тут бы и мы пошли. Они к себе, и мы к себе.

За это задание я взялся с большой охотой, усматривая в нем практическое проявление той борьбы за человека в беде, о которой писал полпред Дерибас.

Чтобы этих беглецов не пугать форменной одеждой, мы под казаков снарядились и малозаметное оружие — автоматы «томсон» — спрятали под малахаи. Такие автоматы в малом количестве нам достались от заморских купцов, в тяжелые годы вторгшихся в наши северо-восточные владения.

С неделю по тайге ходили, но беглецов не нашли. Пять человек в тайге, что иголка в скирде соломы! Может быть, на большие глубины подались.

В поселке Алашери, куда мы пришли за продуктами, нас ожидал приказ вернуться на место службы. Мы были без коней. Решили добираться по Урову.

Вода еще высокая и быстрая в такое время. За двадцатку купили старый бат — лодку, выдолбленную из бревна, — сооружение верткое и не в меру коварное. Но я в таком плавании себя считал знатоком и предупредил моих пограничников:

— Автоматы к поясу пристегните надежно, чтоб, когда будете пузыри пускать — не утопить в отдельности. На самое дно садитесь и за борта не держаться.

— Знаем, товарищ начальник!

Все шло хорошо. До самых Кудеинских приисков проплыли быстро. Слыхал я одним ухом, что отводный канал готовили, чтобы отвести воду и разработать старое русло реки. Готов ли тот канал и откуда берет свое начало — не интересовался. Потом о нем и забыл вовсе. Тут вспомнил — посмотреть бы! Может, по тому каналу на бату и плавать нельзя? Может, на руках надо местами, либо волоком? Только подумал об этом, как подхватило течением и понесло прямо на пешеходный мост, перекинутый через канал и одним своим концом низко висевший над уровнем воды.

Нос бата я успел направить под высокую часть моста, но сам кубарем вылетел в воду. Боли, конечно, не ощущал. Такие мосты из мягкой породы делаются и вода речная, известно, тоже мягкая. Холодная только очень. Плавал я хорошо, вскоре оказался под берегом. Не на берегу или у берега, а именно под берегом, в безопасности и в ловушке.

Вода подмыла откосы канала, и сверху к воде опустился слой чернозема; переплетенный корнями, и висел он отвесно, как ковер. Под такой «ковер» я и угодил. Воздух там был, и за корни держаться можно было. Только темно и вообще убежище мрачное.

Спустя некоторое время, с час, может быть, улавливаю людские голоса. Меня, наверное, ищут. Но они прошли другим берегом и моего попискивания не слыхали. Выбираться надо было самому, пока окончательно не остыл, и пришлось ужом пролезать под этот чертов ковер. Все получалось хорошо. Автомат только мешал, болтаясь между ног. Тоже мне техника, импортная уродина!

На поляне, в километре ниже по течению, застал моих пограничников и с ними несколько гражданских лиц с баграми. Без шлемов, мокрые и подавленные. Моему появлению обрадовались необычайно:

— Значит, вы не совсем утопли, товарищ начальник?

— И я так думаю. А бат где?

— Нету бата! Когда вас из него выбросило, мы бат остановить хотели — но он перекинулся и дальше пошел без нас. На Аргуни уж, наверное… А людей позвали, чтобы баграми шукать у кустов, или, может, где труп появится…

— На заставу побежать хотели, чтоб искали тоже… Но как там скажешь, что начальника почти у самого дома утопили…

Ближайшее селение — Кудеинский прииск. Но туда надо было бежать назад. До Мальков немного подальше, но — к дому. И мы побежали в Мальки.

Повезло! Суббота оказалась, банный день. Крепко попарились и высушились. Ночью приехали в Усть-Уров. Здоровые,

счастливые и хмельные. По такому поводу кто же от доброй чарки отвернется.

Операция завершается докладом об ее окончании. Такой доклад командование требовало и от меня. Но я чекистско-войсковыми операциями раньше не руководил самостоятельно и таких докладов не только не писал — я их никогда и не видывал! Составить такой доклад, следовательно, я не умел.

Мой начальник помог бы, но ему отпуск по графику дали. И я не хотел, чтобы он задержался — за ним в отпуск моя очередь.

Сидел и писал этот отчет между множеством других дел, более важных уже хотя бы тем, что они были делами сегодняшнего дня, а события в верховье Урова — день вчерашний. Хотя мой доклад и приняли, но еще через пару лет уже другой начальник и более высокого ранга за этот доклад меня отхлестал:

— В архиве роюсь, нити ищу. Ваши писания мне тоже попались. Недоволен я вами, товарищ Петров, недоволен! Какой материал вы погубили! Изюминки в них нет, понимаете — и з ю м и н к и!

Писалось, действительно, тяжело. Сама сущность однословно не давалась. Назвать бы кулацким мятежом, и был бы готов остов всей конструкции. Но не мог я так, даже ради той изюминки не мог.

Там, на Урове, все переплелось. Было кулацкое и, как всюду, в эсеровской упаковке. Троцкистское было, знакомое давно. Они, троцкисты, подносили антисоветские «идеи», выработанные более могущественными силами, и лишь наклеивали на них свой товарный знак. Это они силились показать советскую деревню, поддерживаемую могущественным пролетарским государством, как скопище рыбачьих лодок, и потом внушали доверчивым людям:

— Из этих лодок нельзя построить морского корабля!

Броско получалось. Может быть, и красиво. И — ложно!

Японское тоже было, шпионское и императорское.

Но все это лишь одна сторона событий, одна сила. Более подготовленная вначале и более активная, но — не единственная!

Была и другая сторона, другая сила, и в таком сложном переплетении я ее встретил впервые. Сила эта — пассивная вначале, а затем казаки все более активно сопротивлялись планам вражеского руководства. В какой-то мере казаки были застигнуты врасплох новым в селах и тем, что взамен этого нового сулили. Старое было еще дорогое, понятное, и казаки уступили уговорам. Они даже участвовали в нападении на

Ильинский пограничный пост, хотя — это надо признать — особого усердия в схватке с пограничниками не проявляли.

Опомнились они потом. Не допускали убийств и грабежей и мучительно искали путей возврата. Тут подоспели мы, и наше преследование и наше «Обращение к казакам» завершили дело.

Как-то, позже уже, Попов говорил:

— Как это все сложно! Не просто революция и ее враги, не просто — «кто не с нами, тот против нас».

— Сложно, говоришь? И мне сложно, очень…

Мятеж на Урове подготавливался давно, и еще тогда Максима Петровича намечали в подставные руководители. В подставные, не больше. Он обладал такими личными качествами, которых начисто были лишены организаторы антисоветских авантюр — смелостью, волей и имел честное имя. Вначале удалось поссорить его с органами власти и якобы от их имени нанести ему удар по самому уязвимому месту — по боевой славе этого партизанского сотника. Проживая по отдаленным зимовьям, эмиссары белых центров месяцами обрабатывали его посулами, уговорами и угрозой. Им же, используя связи в советских сферах, удалось направить наши усилия по ложному следу.

Справедливость требует сказать, что именно Максим Петрович не допустил убийств и грабежей в первый день выступления, какой при мятежах обычно бывает наиболее кровавым.

— Казак я и я с казаками. Обижать их не позволю. А что же получается, граждане хорошие, если казак на казака пойдет?

Может быть, подлинные организаторы в тот день особенно сильно на убийствах и не настаивали, не торопили:

— Пусть ватагу на Илью поведет. Тут его заменить некому, Но когда его руки в крови будут, нашим станет, или мы его к ногтю.

Так бы, конечно, и получилось. Дальнейшее падение прервала смерть, рикошетная пуля и граната пограничника. Ватага осталась без командира, и после неудачи в Илье «высокие представители» скрылись в притонах Харбина и Шанхая. Дело — полагали они — было сделано.

Изловить истинных руководителей мятежа нам не удалось. И все же главное было сделано и нами. Мы встали между казаками и их врагами и не допустили истребления советских людей. Не воплотились в действительность зловещие планы врагов о подведении советских людей под удары наших же карательных органов. По событиям на Урове никого не вызывали, не допрашивали и не преследовали.

Об этих событиях писалось в журнале «Огонек» в 1933 году.

Рассказ ли был или очерк, сейчас уже не помню. Название память сохранила — «Ильинский пост».

notes

Примечания

1

Кто бы мог тогда представить, что пройдут годы и тихая Дубровка станет одним из самых кровавых «пятачков» на огромном советско-германском фронте и что она будет играть роль решающего фактора при прорыве вражеского окружения в направлении на станцию Мга?

Ежегодно, в первое воскресенье сентября, участники боев на Дубровском пятачке и многие ленинградские писатели выезжают туда, вспоминают павших и радуются встрече.

Многих им еще встреч, очень многих!

2

В настоящее время Карл Иванович Ниемеля — персональный пенсионер, проживает в Петрозаводске.